

Евгений Мосягин

Свет
и тень,
радость
и печаль



Евгений Мосягин

Свет и тень, радость и печаль

«ИТРК»

2019

УДК 82-312.6
ББК 84-44

Мосягин Е. П.

Свет и тень, радость и печаль / Е. П. Мосягин — «ИТРК», 2019

ISBN 978-5-88010-564-9

В новой книге писатель-фронтовик, участник партизанского движения в Белоруссии, Евгений Потапович Мосягин (1926 г.р.) представляет свои рассказы, новеллы и очерки, написанные им за 50 лет творческой деятельности. Сюжеты произведений основаны на личном опыте автора и впечатлениях, которые он вынес в суровые годы Великой Отечественной войны и эпоху строительства коммунизма. Книга предназначена для читателей всех возрастов, любящих качественную современную прозу.

УДК 82-312.6

ББК 84-44

ISBN 978-5-88010-564-9

© Мосягин Е. П., 2019

© ИТРК, 2019

Содержание

Великая Отечественная война	5
Отправка в Германию	5
Защитник Родины	10
Пьетро и Ксения Фёдоровна	19
Медсестра Тося	29
Ты только жди меня	37
Фронтовики	40
Памятные дни войны	53
Встреча на войне	57
День Победы	59
Привилегия	62
Скрипка в землянке	66
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Евгений Мосягин

Свет и тень, радость и печаль

(сборник)

Великая Отечественная война

Отправка в Германию

В первых числах августа 1943-го года в оккупированном немцами Новозыбкове был объявлен приказ военной комендатуры о том, что всем мужчинам 1925-го и 1926-го годов рождения в течение трех дней пройти регистрацию на бирже труда для отправки в Германию. Во всех расклеенных по городу объявлениях предупреждалось, что ко всем уклоняющимся от выполнения приказа коменданта будут применяться меры принуждения с последующим строгим наказанием.

За два года оккупации немцы систематически небольшими группами увозили молодых людей в Германию. Назначаемых к отправке в немецкую неволю оповещали повестками, которые доставлялись адресатам полицейскими или курьерами биржи труда. В повестке строго предписывалось явиться к месту сбора в указанное время, имея при себе трехдневный запас пищи и необходимую одежду. Человеку, получившему такую повестку, ничего другого не приходилось делать, как выполнять ее требования. Скрыться или убежать было невозможно. В этом случае арестовывали родных, а кто же подставит мать или отца под расплату за свою сомнительную свободу. Нет, бежать было нельзя. Повестка была, как приговор, подлежащий к неукоснительному исполнению.

Летом 1943-го года немцы после поражения в Курской битве спешили вывезти с оккупированных территорий в Германию всё, что могло представлять хоть какую-нибудь ценность. Я не знаю, какие ценности могли вывезти немцы из Новозыбкова. Все, что казалось ценным в нашем городе, давным-давно было экспроприровано советской властью: были разрушены, разграблены и опустошены богатые дома именитых купцов и предпринимателей, банки конфискованы. Построенные после революции предприятия были взорваны перед сдачей Новозыбкова врагу. Таким образом немцам абсолютно нечем было поживиться в нашем городе. Оставались только люди, молодые, работоспособные русские люди. И немецкая комендатура объявила в Новозыбкове о массовом вывозе молодежи в Германию. Для меня это не было неожиданностью, так как слухи об этом в последнее время упорно держались в городе, и я сжился с мыслью о неизбежности принудительного отъезда, перестал беспокоиться и переживать. Я беспокоился за родителей, особенно боялся за мать. Она уже проводила на войну двух сыновей, двух моих старших братьев. Но если старших своих сыновей она проводила на войну с врагами своей Родины, как это делали матери в лихое время на всем белом свете, то куда она будет провожать меня? В неведомую ей и страшную Германию, откуда пришла война в наш город и разрушила ее семью? Мама плакала и молилась Богу.

В художественном кино о войне мне часто приходилось видеть, как немцы устраивали облавы на людей, как их под оружием загоняли в товарные вагоны, кого-то избивали, толкали прикладами винтовок и автоматов, на кого-то орали. В Новозыбкове ничего этого не было. Фашисты насильственный угон русской молодежи в Германию обставили, как добровольную вербовку некоторых граждан, изъявивших свое согласие на выезд. Но эта бесчеловечная акция не могла быть проведена без насилия и принуждения.

Процедура регистрации лиц, подлежащих отправке в Германию, начиналась с медицинского осмотра. Я удивился тому, сколько много в Новозыбкове моих ровесников, хотя знакомых среди них было мало: Коля Дунаев, Костя Макушников, Вовка Башмаков, парень с нашей улицы, пижон и задавака, да еще двое-трое ребят.

Как и следовало ожидать, медосмотр был простой формальностью. Два русских врача и один немец очень быстро пропускали мимо стола молодых новозыбковцев, свидетельствуя их абсолютную пригодность для работы в великой Германии. Нас пока не конвоировали и после медкомиссии отпустили по домам с тем, чтобы на следующий день явились на биржу для регистрации. Так я получил возможность провести дома целые сутки. Но не только дома.

Вечером я встретился с Лидой. Я любил эту девочку. Ей было шестнадцать лет, и пока отправке в Германию она не подлежала. Городской парк открывался во время оккупации только по воскресным дням, остальное время он был пуст и закрыт для посетителей. Но мне удалось подружиться со сторожем, и время от времени мы с Лидой бывали в парке. Вечер был тихий. В Михайловском соборе шла служба и негромкий звон колокола плыл, затихая в пустых и сумрачных аллеях. Горше горького была эта наша последняя встреча.

Биржа труда была расположена на углу Первомайской и Советской улиц. Владелец этого дома, видимо, был человек состоятельный. Дом был просторным и хорошо спланированным. Первая большая комната, куда попадали посетители, была разделена перегородкой наподобие того, как это делается в сберкассах и на почтах. За перегородкой сидели служащие, в комнате толпился народ. Направо от входа был коридор, по обе стороны которого виднелись закрытые двери. На биржу труда мы пришли с отцом. У меня еще не было опыта посещения казенных учреждений, и я, несмотря на решимость, несколько замешкался, решая, у кого спросить, куда идти на регистрацию. Кроме того, мне вдруг стало не по себе от того, что сейчас уйду, может быть, навсегда и что отец останется один в этой комнате, один пойдет домой, откроет нашу калитку и один встретит нашу маму. Я медлил и вдруг увидел моего школьного друга Алексея Копылова. Он выходил из коридора и направлялся ко мне, но в эту минуту Алексея догнал высокий мужчина и, не говоря ни слова, не стесняясь присутствия множества людей, левой рукой повернул Алексея к себе, а правой от плеча на полную прямую руку ударил его кулаком в лицо. Люди шарахнулись по сторонам, Алексей начал заваливаться на спину, но ударивший его мужчина схватил его за руку и потащил за собой в темный коридор.

Как выяснилось потом, Алексей отказался подписывать вербовочную анкету, в которой, кроме обычных вопросов, было сказано, что нижеподписавшийся добровольно и без принуждения, по собственному желанию, направляется на работу в Германию. Алексей, прямодушный и бесхитростный человек, сказал вербовщику, что добровольно ехать в Германию он не желает и анкету с таким условием подписывать он не будет.

– Подписывай, – урезонил его вербовщик, – это такой порядок. Другой анкеты не будет.

– А мне вообще никакой анкеты не надо, – сказал Алексей и пошел из кабинета. Вербовщик догнал его.

Когда я сидел напротив этого большого рыжеватого мужчины и смотрел в его спокойную физиономию, невозможно было представить, что минуту-другую тому он бил человека кулаком в лицо. На чистом русском языке вербовщик задавал мне вопросы и быстро записывал в анкету мои ответы. На меня он не обращал ни малейшего внимания. Заполнив анкету, он молча протянул ее мне, и я подписал этот фальшивый документ. Мне было велено явиться в городской банк на Коммунистической улице. Городской банк при немцах не работал. Все дела, связанные с финансовой деятельностью города, решались в городской управе и немецкой комендатуре. Двухэтажное здание банка вполне могло быть использовано под содержание в нем лишенных свободы людей. В городе была тюрьма, но она ни при какой власти не пустовала. Утром следующего дня отец с моей младшей сестрой Верой проводили меня до банка. Мы пошли без вещей.

– Зачем тебе с ними таскаться, – сказал отец. Он узнал у знакомого полицейского Федора Волкова, мужа нашей соседки Христины, что отправки сегодня не будет.

– День вас продержат в банке, соберут всех, а завтра поведут на станцию. Вещи я завтра принесу или, в крайнем случае, передам через Федора.

В нашем городе все расстояния короткие, и мы очень быстро, даже скорее, чем хотелось бы, дошли до банка. Вся улица около него была заполнена народом. У железных ворот, ведущих во двор, стоял огромный солдат с автоматом и в каске. Это был какой-то нижний чин из полевой жандармерии, о чем свидетельствовала желтая окантовка его мундира. На груди солдата, на цепочке, был подвешен довольно крупного размера странный знак из белого металла. Солдат равнодушно смотрел на толпу. Скорбная была эта толпа, тихая, несуетливая. Мы трое, отец, сестра и я молча стояли под деревом напротив банка. Я не знал, что надо сказать отцу и сестре, я терял самообладание, и пронзительное чувство горя начинало овладевать мной. В эту тягостную минуту к нам подошла моя школьная учительница Валентина Ивановна Шелковская. Она пришла проститься со мной и принесла цветы. Я был ей очень благодарен за то, что своим появлением она как-то переломила состояние обреченности и уныния, охватившее нас троих. Мне легче было оставить отца с сестрой в обществе хорошего доброжелательного человека. С цветами в руках я пошел к железным воротам. Часовой открыл передо мной железную калитку, устроенную в одной створке ворот, я перешагнул через высокую нижнюю обвязку проема, и железо с грохотом затворилось за мной. Дежурный полицейский велел мне идти на второй этаж в канцелярию, отметить в списке.

Моя первая тюрьма ни в коей мере не была похожа на мрачное узилище для изоляции всякого рода лихих людей. Коридор второго этажа банка был довольно высоким и опрятным. Все двери, обращенные в коридор, были раскрыты. Нигде, ни в комнатах, ни в коридорах не было никакой мебели: ни столов, ни стульев, ни простых скамеек. Вместо этого в каждой комнате вдоль стен лежали вороха свежей соломы. Это было так странно и неожиданно, на паркетных полах, под высокими потолками с лепными карнизами, у красиво окрашенных стен лежала солома, свежая золотистая солома, постель для узников. Жизнь поворачивалась ко мне какой-то неведомой стороной... А вокруг было много народа, молодые парни бродили по комнатам, собирались в группы, шумели, что-то обсуждали, играли в карты и даже пели советские песни: «Катюшу», «Тачанку», «Три танкиста». Никто не следил за нами, полицейские в основном находились во дворе и в помещение заходили редко. Высокие окна старинного здания были раскрыты настежь. Я подошел к одному из них и сразу же внизу в толпе увидел отца и сестру. С ними все еще стояла моя учительница. Они заметили меня, и я помахал им рукой, чтобы они уходили домой. Потом я слонялся по комнатам, по коридору, спускался в огороженный крепким забором двор, снова поднимался на второй этаж. Я все хотел найти Колу Дунаева, Костю Макушника или Алексея Копылова, но никого из них нигде не было. Я снова принялся смотреть в окно, толпа не расходилась, но отец с сестрой и учительницей уже ушли. И вдруг я увидел, как от угла Первомайской улицы к банку шла Лида со своей подругой Ларисой Зенченко. Как только Лида дошла до моего окна, я бросил цветы и они упали к ее ногам. Она посмотрела вверх и увидела меня. Лида подняла цветы, и случилось самое невероятное, что только можно было ожидать: она решительно пошла к железным воротам банка. Часовой распахнул перед ней калитку, и она вошла в нее.

По коридору и лестнице я побежал к ней навстречу. С цветами она шла ко мне. Что она наделала! Как же теперь ей выйти отсюда? Я боялся, что нас всех из банка погонят на станцию без разбора, посадят в вагоны и увезут из города. Что другое я мог предполагать? Мы стояли с Лидой на втором этаже у окна, мимо бродили знакомые и незнакомые ребята и с удивлением посматривали на нас. Мы никого не замечали. Каждая минута, проведенная с Лидой, была для меня счастьем. Но думал я тогда о другом. Что делать, как мне ее отсюда выволить?

– Я поеду с тобой, – говорила Лида, – где будешь ты, там буду и я.

Ближе к вечеру, когда она устала от неприкаянности, от суеты и скученности множества несвободных людей, когда она не на шутку поняла, что дальше коридора да сумрачного двора банка ей никуда уже не выйти, что только здесь под охраной немецких часовых и полицейских теперь может находиться, сломалась, сникла и выглядела подавленно.

Я с ужасом думал о предстоящей ночи. Надо было что-то делать. Я решил поговорить с полицейскими. На этот случай у меня было полсотни немецких марок. Спускаясь по лестнице, я заметил на площадке первого этажа, ведущую в здание, приоткрытую дверь, которая весь день была заперта. Мы с Лидой вошли в эту дверь и, пройдя по темным коридорам, попали в большое светлое помещение операционного зала банка. Здесь было многолюдно, толпились ребята, отправляемые в Германию, чем-то озабоченные, перемещались в толпе полицейские. У выхода на улицу стояла большая группа немецких офицеров. В толпе я заметил Христинина Федора. Он хорошо знал меня и Лиду. Я начал было объяснять ему, что Лида здесь по ошибке, что ее нет в списках, что надо ее как-то выволить отсюда. Но Федор плохо слушал меня, и надежда моя таяла.

– Ты погоди, не спеши, – сказал Федор, – ты погоди. Я сейчас. Стойте здесь...

Он куда-то ушел, но очень скоро вернулся.

– Я знаю, – сказал он мне, – твой папаша со мной разговаривал. Пойдем, девочка.

Христинин Федор – самый добрый в мире полицейский – взял Лиду за руку и вывел ее на улицу.

Гора свалилась с плеч. В углу банковского двора был непросматриваемый участок забора. Мы сговорились с одним парнем и за несколько минут, помогая друг другу, перемахнули через этот забор. Пробежали по каким-то огородам, миновали чей-то сад, пробрались через небольшую, но густую посадку кукурузы, а потом чужим двором вышли на соседнюю улицу.

Мама встретила меня с радостью, но и со страхом, она боялась, что меня накажут за мой побег, но я успокоил ее. Я сказал, что сегодня проверки не будет, а завтра утром я сам вернусь в банк. Утром за мной пришел полицейский.

Казалось, что весь город собрался в это утро на Коммунистической улице у городского банка. Отец, мать и Вера остались в толпе, а я протолкался к железным воротам и вошел в знакомую калитку. Меня не наказали, отметили в списке и всё. Во дворе банка было очень многолюдно, в здание никого не пускали. Нам объявили, что на вокзал мы пойдем строем под конвоем немецких солдат и полицейских, а на станции будет погрузка в вагоны. Строго предупредили, чтобы мы не нарушали строя и соблюдали порядок движения.

В чистом месте двора установили стол, накрытый белым покрывалом, на стол водрузили икону, рядом поставили серебряную чашу. Священник прочитал молитву и окропил нас святой водой. Многие подходили под благословение и прикладывались к большому золочённому кресту. Я этого не сделал, о чем впоследствии очень сожалел. Я не чувствовал себя искренно верующим, хотя под влиянием материнской веры в Бога и под незабываемым впечатлением раннего детства религиозное чувство во мне не было окончательно убито. Но что-то меня удержало, и я не подошел к священнику.

Среди отправляемых в Германию не было ни одного моего хорошего товарища. Алексея Копылова, друга детства, от отправки в Германию освободили, а друзья более позднего времени: Толя Ляшков, Коля Малеев, Миша Торбик, – все были старше и отправке в Германию не подлежали. Но им досталась нелегкая доля, сразу же после освобождения Новозыбкова из-под оккупации их всех мобилизовали в Красную Армию, и через очень короткое время их матери начали получать похоронки...

Единственными, кого я знал больше других, Коля Дунаев и Костя Макушников. Мы решили держаться вместе. После того, как священник закончил свое напутствие и были унесены атрибуты его священнодействия, раздалась команда строиться в колонну по четыре. Мы не умели этого делать, и полицейские нам помогли. Грянул духовой оркестр. Железные ворота

распахнулись. Двор банка был в тени от рядом стоящего здания, а на улице сияло солнце, и потому из-под арки ворот мы выходили, как из темного туннеля. Улица кипела народом. Сцепившись согнутыми в локтях руками, полицейские двумя сплошными цепями организовали живой коридор в напиральной неспокойной толпе. В этот коридор, в этот неспокойный проход двинулась наша нестройная колонна. Оркестр заглох где-то позади, как бы осознав свою неуместность. Я видел, как упирались полицейские и каких усилий им стоило сдерживать народ. Я слышал какие-то команды и громкие женские возгласы, взлетающие над общим гомоном многоголосой толпы. Шел я в четвертом ряду крайним справа, было у меня такое впечатление, что я видел все происходящее на улице откуда-то со стороны... Я видел полицейские цепи, видел нашу колонну в живом коридоре и самого себя в синей курточке и сапогах, шагающего в этой колонне. Мне было непонятно, как немцы намеревались вести нас к вокзалу? Неужели они полагали, что какая-то сотня полицейских сумеет на протяжении всего пути сдерживать толпу, отделяя ее от нас и не допуская ее смешиваться с нами? То, что немцы не хотели применять оружие для наведения порядка, было очевидно. Только потому и нарушился намеченный ими порядок конвоирования нас на станцию. Не дошли мы колонной до угла Первомайской улицы, как провожающие смяли полицейские цепи, и все смешалось, и никого нельзя уже было отделить друг от друга. Родители, родственники, друзья и знакомые отыскивали в людском водовороте тех, кого они провожали, и дальше шли уже вместе, стараясь хотя бы недолгое время побыть с дорогим человеком. Полицейские, рассеянные людским потоком, беспомощно шагали в толпе, даже не пытаясь наладить хоть какой-то порядок. Немецкие солдаты в касках автоматами поперек груди, не проявляя никакого беспокойства, шагали по стезям около домов и казались совершенно безучастными ко всему происходящему. Бесперывно сигналив, через толпу вперед и назад проезжала открытая легковая машина, в которой сидели, храня строгое спокойствие, какие-то немецкие чины в армейской форме. Люди расступались, пропуская автомобиль, и тут же заполняли освобожденное пространство. Ни полицейские (они были без оружия), ни немецкие солдаты не проявляли ни грубости, ни насилия. Так и двигалось по городу это невообразимое шествие, заполнявшее улицу во всю ее ширину и растянувшееся более, чем на квартал. Никогда за всю свою историю Новозыбков не видел ничего подобного. Город прощался со своими юными гражданами.

Женщины, родившие мальчиков в 1926-м и 1925-м годах, даже в страшных снах не могли представить себе, что будут растить своих сыновей только для того, чтобы в какой-то черный день отдать их немецким фашистам, проводить их в чужую страшную страну, не имея никакой надежды на их возвращение. Много горя и слез видели новозыбковские улицы в этот светлый день августа 1943 года. Люди шли тихо, не было слышно ни громких разговоров, ни рыданий, ни возгласов. Я шел со всеми вместе, со мной рядом шли мать, отец и сестра. Позже меня разыскала Лида, с ней были Лариса и Соня. Лида плакала и все время уговаривала меня убежать. Конечно, из этой толпы скрыться было нетрудно. Но что потом?.. На станции, при посадке в вагоны, обнаружится мое отсутствие и начнется... Трудно себе представить, что начнется потом, что будет с моими родителями. Я тихо говорил Лиде, что в Германию меня не увезут, что я сбегу по дороге, только не в Новозыбкове. Понимала ли она меня, воспринимала ли то, что я говорил ей, не знаю. Мать и отец покорно и без слов шли рядом со мной. Что они могли мне сказать? Я же хотел только одного, покорно дойти до станции, чтобы кончилось, наконец, это мучение, эта горькая мука затянувшегося прощания.

На вокзале все было организовано четко и в темпе. Толпу остановили у железнодорожных путей и оцепили. Кто-то русский с какого-то возвышения выкрикивал фамилии. Товарные вагоны быстро заполнялись молодым новозыбковским народом. Дошла очередь и до меня... Я простился со всеми, взял у отца свои вещи и пошел к указанному мне вагону.

Через два дня за Днепром, в Белоруссии, Коля Дунаев, Костя Макушников и я совершили побег из немецкого эшелона.

Защитник Родины

Очерк

Из нашего рода я остался последним из мужчин, что защищали в войнах Россию.

Дед Ефим был участником Русско-турецкой войны 1877 – 1878-го годов.

Трое сыновей деда Ефима были солдатами Первой мировой войны. Старший сын Николай погиб на фронте, средний сын Потап, инвалид Первой мировой войны, три с половиной года с 1914-го по 1917-й провел на передовых линиях боевых действий с немцами. Младший брат Иван вернулся домой живым и здоровым.

Трое сыновей Потапа Ефимовича участвовали во Второй мировой войне. Старший сын Алексей погиб в Великой Отечественной войне. Средний сын Федор, инвалид Великой Отечественной войны, всю войну находился на переднем крае, за исключением времени лечения в санбатах и госпиталях да трехмесячного срока обучения в 1942-м году на курсах младших лейтенантов. Третий сын – это я. Войну закончил живым и здоровым.

В 1943-м году, когда немцы уходили из нашего города, так получилось, что отца поставили к стенке сарая расстреливать. Немец поднял винтовку, мать бросилась на ствол, пуля пробила ей грудь навывлет. Этим она спасла отца.

Военная судьба моего брата Федора Потаповича Мосягина началась в августе 1941-го года, а закончилась возвращением его в родной город через пять лет, в 1946-м году.

Первую малую кровь брат пролил в одном из боев в битве за Москву, а в битве за Берлин он получил тяжелейшие раны и выбыл из боевого строя. Между этими двумя великими сражениями Великой войны прошла фронтовая юность моего брата. В числе прочих наград за Великую Отечественную войну он имеет медали «За оборону Москвы» и «За взятие Берлина». Имеется у него еще пять нашивок за ранения: три желтых за тяжелые раны и две красных за менее тяжкие увечья.

Крещение войной

В первые дни после выступления Молотова, в начале войны, мой брат, как и многие его сверстники, подал заявление в райвоенкомат о призыве в армию. Тех, кому исполнилось 18 лет, призывали, а семнадцатилетних не брали. Но в первых числах июля этих, не призванных в армию, имеющих семилетнее образование, направили в Орловское пехотное училище. Таких в городе набралось 16 человек и среди них был мой брат. По прибытии в училище ребята начали сразу же сдавать экзамены, но через три дня пришел приказ из Москвы, и весь личный состав училища направили на фронт, а новое пополнение откомандировали в свои райвоенкоматы.

Немцы стремительно наступали на восток по территории нашей страны. Новозыбкову грозило окружение. 13 августа брат получил повестку из райвоенкомата явиться на призывной пункт, который располагался в городском саду. Здесь у него отобрали паспорт, оформили призыв в армию и отпустили домой до утра 15 августа. Было сказано, что все, призванные в армию пятнадцатого, уйдут из города вслед за отступающей Красной Армией.

К этому времени ситуация в городе сложилась критическая: в ночь с 15 на 16 августа немецкая авиация разбомбила железнодорожную станцию, а через два дня железная дорога на Брянск, Орел и на Москву была захвачена наступающей немецкой армией и город оказался отрезанным от центральных районов России. Свободным из вражеского окружения в результате этого оставался пока один только путь – в юго-восточном направлении.

Решение о выводе из Новозыбкова горожан призывного возраста и допризывников было совершенно необходимой акцией, только провести ее нужно было значительно раньше, когда

была еще возможность воспользоваться железнодорожным сообщением. Причина, что это не было сделано своевременно, состояла в том, что в городе было запрещено готовиться к эвакуации и даже разговоры об эвакуации рассматривались как панические настроения, что, по постановлению горкома партии¹, считалось пособничеством врагу.

Утром 15 августа в городском саду было настоящее столпотворение. Женщины плакали, дети суетились, мужчины толклись, ожидая какого-нибудь приказа. Ждать пришлось недолго. Работник райвоенкомата, офицер по фамилии Зенченко, провел переключку и объявил, чтобы призванные в армию прощались с родными. Где-то заиграла гармошка, раздалась какая-то надрывная песня, вскрикнула женщина. Мужчины с котомками на плечах двинулись к выходу из парка. Я был с братом, и самым неожиданным для нас было то, что Зенченко повел колонну не налево, из парка к озеру, через, базар и по Замишевской улице на восток из города, а направо, по нашей улице, мимо нашего дома в сторону Нового Места, то есть, прямо на запад. Почему на запад? Этот вопрос для меня остался нерешенным до сего времени. Изю всех направлений, по каким можно было уходить от наступающих немцев, это направление было самым губительным и смертельно опасным. Даже в то время нетрудно было правильно оценить существующую обстановку. Я далеко за город провожал брата. В Новом Месте новозыбковские мужчины весь день, до темноты, копали противотанковый ров. Ночью они видели, как немцы бомбили город. Наблюдая огненные всполохи в ночном небе, офицер Зенченко, командовавший новозыбковским воинством, наконец, принял правильное решение. Он построил колонну призывников и повел ее обратно в город. По улице Урицкого, через базарную площадь и Замишевскую улицу колонна пересекла город и вышла на дорогу в сторону Кривца и Великой Топали. Шли всю ночь, днем где-то отдыхали, а следующей ночью пошли дальше. Через двое суток они дошли до Стародуба. Это был самый опасный для них участок пути, хотя они об этом ничего не знали. 17 августа части 2-й танковой немецкой армии захватили город Унечу, а это всего в 30-ти километрах от Стародуба. Что стоило немецким танкам проехать эти лишние тридцать километров и войти в Стародуб? Сопrotивления они бы не встретили никакого, наших войск на этой территории уже не было. Но вот почему-то немцы остановились в Унече, и это дало возможность новозыбковской колонне спокойно пройти этот роковой участок пути. А если бы не остановились немецкие танкисты? Об этом не хочется думать.

Дальше Стародуба путь новозыбковской колонны шел на Погар, Трубчевск, Комаричи. Шли только ночами, днем стояли в лесу. По пути колонна обрастала обозным имуществом и выходящими из окружения отдельными группами военных, отбившихся от своих частей. В Комаричах оставили местным жителям лошадей и телеги и с помощью местной комендатуры сформировали на железнодорожной станции эшелон, и на поезде двинулись на Курск и дальше на Воронеж, где военная комендатура направила новозыбковскую колонну на формирование в город Борисоглебск. В лесу на берегу реки Вороны новозыбковцы поставили шалаши и начинали налаживать гарнизонный порядок, но через двое суток их распределили по колхозам. Брат попал в село Калмык в колхоз имени Кагановича. На квартиру ставили по пять человек к местным жителям. Работали на уборке урожая. В середине сентября вернули всех в лес на берег Вороны, здесь уже были построены землянки. Весь личный состав обмундировали и распределили по подразделениям. Мой брат Федор Мосягин попал в школу конной разведки. В начале октября он принял военную присягу. Ему еще не было восемнадцати лет. Значительно позже он писал мне о начале своей службы в армии:

«Где-то к концу октября нас подняли по тревоге, построили и повели в Борисоглебск на вокзал, где погрузили в эшелон и повезли в Тамбов. Со станции пешим порядком нас направили

¹ Имеется в виду правившая в стране в ту пору Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) – ВКП(б), с 1952 до 1991 года – Коммунистическая партия Советского Союза. – Прим. ред.

в лес неподалеку от Тамбова, где в расположении воинской части шло формирование Первой Ударной армии. Я попал в 20-ю Особую Стрелковую бригаду. До середины ноября от рассвета до темна проходили сплошные учения на местности. Потом эшелонам нас повезли к Москве. Разгрузались на станции Химки. Не знаю, вся наша бригада или нет, но наш батальон попал на передовую на Истринское направление. Бешеными атаками и днем и ночью на нас кидались немцы. С нашей стороны было много потерь. Я был ручным пулеметчиком (ДП – Дегтярев пехотный). Одно время был слух, что нас отведут на другие более выгодные позиции, но этого не случилось».

Слух об отводе войск на другие позиции связан, видимо, с тяжелой ситуацией сложившейся на линии обороны двух стрелковых дивизий 16-й армии, которой командовал генерал-лейтенант Рокоссовский. Он обратился к генералу армии Жукову, командующему обороной Москвы, с предложением отвести войска на более выгодные для обороны позиции за реку Истру и Истринское водохранилище, что дало бы возможность с меньшими потерями держать оборону и даже высвободить некоторые подразделения для использования их на других не менее опасных направлениях. Жуков запретил этот маневр. «Стоять насмерть!», – приказал он. Неся тяжелые потери, дивизии 16-й армии остались стоять на своем месте.

Дальше в своем письме брат писал:

«Ночью четвертого декабря наш батальон сняли с обороны и прямо из траншей форсированным маршем гнали всю ночь в 1-ю Ударную армию в сторону Ленинградского шоссе. А 5 декабря, в день Сталинской конституции, мы пошли в наступление по направлению на Солнечногорск, Клин и дальше. Мы погнали немцев от Москвы».

В первое время наступления бои шли почти непрерывно. В бою у какой-то небольшой деревни неподалеку от Клина пулеметчик Мосягин вместе со своим вторым номером поднялись для очередной перебежки вперед. И в это время пуля пробила брату валенок и касательно задела левую ступню. Брат почувствовал сильную боль, но нога нормально действовала, и он из боя не вышел. Когда выбили немца из деревни, санинструктору пришлось разрезать валенок на раненой ноге брата. Много натекло крови и больно было вытаскивать ногу. Пуля прошла по косой и зацепила кровеносный сосуд с внешней стороны ступни. После обработки раны и перевязки кровотечение уменьшилось, болело, но не очень, ходить можно было.

– Ты, малый, в рубашке родился. Попало бы пониже, и не было бы ступни. Костыль тебе на всю жизнь был бы обеспечен, – сказал Коровкин, немолодой колхозник из-под Рязани. Он таскал коробку с запасными дисками и был хорошим товарищем.

С ручным пулеметом Мосягину пришлось расстаться. Командир роты приказал передать пулемет красноармейцу Важаеву, а винтовку Важаева отдать Мосягину. Старшина роты из своих запасов подобрал для Мосягина подходящий валенок.

И остался боец в строю.

В конце декабря, когда успешное наступление Красной Армии отбросило немецко-фашистские войска далеко от Москвы, часть, в которой воевал брат, была снята с передовой, отведена в тыл и после переформирования направлена эшелонами на СевероЗападный фронт.

Та малая кровь, что была пролита братом под Москвой, к счастью, не стала солдатской раной.

Северо-Западный фронт

Отделение сержанта Сысоева стояло в боевом охранении на передовой линии фронта. Траншея, откуда велось наблюдение за противником, располагалась по берегу замерзшей и

покрытой снегом неширокой речки. За речкой, за неширокой ее поймой, поросшей кустарником, стояли немцы. Неподалеку от траншеи, в нашем тылу, была деревня, в которой уцелело всего несколько хат. В хатах, сменяясь с боевого дежурства, отогревались бойцы. Та первая зима войны была очень морозная.

С продуктами и куревом в отделении было все в порядке, не было только спичек и, как на грех, ни один боец не обзавелся весьма популярной в первые годы войны «катюшей» – нехитрым приспособлением для высекания огня. У сержанта Сысоева оставалось в коробке всего три спички и, хотя он очень дорожил ими, одну из них пришлось потратить на то, чтобы развести маленький, почти бездымный, постоянно поддерживаемый костерок. С куревом и мороз вроде бы отступал, и время дежурства проходило веселей.

Немцы в основном вели себя смиренно, но время от времени из малых 49-миллиметровых минометов обстреливали наш передний край. Во время очередного такого обстрела осколком мины ранило красноармейца Мосягина. Небольшой кусочек горячего металла пробил маск-халат, шинель, телогрейку, гимнастерку, белье и очень ослабленный врубился в спину. Раздеться на морозе не хотелось и брату поначалу показалось, что повреждение спины незначительное, что он может перетерпеть и все обойдется само по себе. Но так только показалось, боль становилась невыносимой. С наступлением ночи отделение сменилось с дежурства и ушло на обогрев в одну из уцелевших изб. Брату помогли раздеться. Ротного санинструктора не было, он находился в других взводах. Сержант Сысоев выковырял из небольшой раны осколок и спину брату забинтовали индивидуальным пакетом. Несколько дней он проходил без перевязок, и ко времени, когда во взводе появился санинструктор, рана его загноилась. Правильная медицинская помощь дала хорошие результаты, и рана после нескольких перевязок начала заживать. Необходимость отправки в санбат отпала.

Отсутствие санинструктора объяснялось тем, что в других взводах у некоторых бойцов были обморожены пальцы на ногах и приходилось оказывать им помощь.

Ни на один день брат не оставлял строя и нес боевое дежурство наравне со всеми бойцами отделения. К весне обстановка на многих участках Юго-Западного фронта обострилась. В апреле шли бои за населенный пункт Ватолино в районе Старой Руссы, где была окружена 16-я немецкая армия под командованием генерала Буша. Красноармеец Мосягин к этому времени из стрелковой роты был переведен в роту автоматчиков при штабе 20-й Особой стрелковой бригады. Теперь он был вооружен автоматом ППШ с круглым диском на 71 патрон.

Бой за Ватолино был очень тяжелым. Рота автоматчиков почти обошла деревню, чтобы ударить по немцам с тыла, но была обнаружена и попала под сильный минометный и пулеметный огонь. Автоматчик Мосягин был ранен минометным осколком: острый кусок железа длиной с половину пальца воткнулся в лицевую кость под правым глазом. Брат сам выдернул осколок, кровь залила лицо, закружилась голова. Командир отделения крикнул:

– Тебя ранило! Ползи назад! Автомат давай сюда! Мосягин автомат не отдал, был приказ оружие на поле боя не оставлять.

– Ползи к кустарнику, там должен быть медпункт! – приказал сержант.

Медпункта в кустарнике не было. Внимание брата привлек негромкий стон, и, пробравшись через кусты, он увидел на земле незнакомую раненую медсестру. Ему показалось, что у нее перебито правое бедро. Она была в сознании. Сама спустила брюки и жгутом остановила кровь.

– Клади меня на плащпалатку, – сказала она, – и волоки к дороге, пока ты еще не потерял сознание. Рана у тебя опасная.

Из последних сил, временами впадая в забытие, Мосягин дотащил раненую женщину до дорожной колеи на краю кустарника. Их подобрал подвозчик снарядов, возвращавшийся с огневых позиций. На санях он довез раненых в деревню Теплынку, где располагался санитарный пункт. Медсестру увезли в тыл, а Мосягину сделали перевязку, и он пошел в свою роту.

На другой день он принимал участие в строительстве моста через речку Ловать. Нес бревно с напарником, потерял сознание и упал. Санинструктор отправил его снова в Теплынку.

Начались скитания по госпиталям. Из Теплынки Мосягина направили в город Осташков, потом в санитарной машине вместе с другими ранеными перевезли в Нилову Пустынь, где раненых разместили по монашеским кельям. Отсюда многих раненых, в том числе и Мосягина, на теплоходе по Селигеру отвезли снова в Осташков, где раненых погрузили в эшелон по теплушкам и перевезли в город Максатиху. По дороге эшелон бомбили и все, кто мог, покидали вагоны. Даже один безногий как-то выбрался. Мосягин тоже пошел из вагона, но на выходе потерял сознание и очнулся уже на земле. На четвереньках он отполз в сторону от железнодорожных путей. Из Максатихи через неделю многих раненых перевезли в госпиталь в Ярославль.

Брат плохо запомнил медосмотр. «Трубку через нос», – резко командовал хирург и отдавал сестрам еще какие-то распоряжения. В конце осмотра командовал: «Готовить к операции!».

В большой госпитальной палате койка брата стояла у самой двери. Вечером к нему подошел незнакомый врач.

– Мосягин? – спросил он.

Брат ответил утвердительно.

– Потапа Ефимовича сынок? – спросил врач и, услышав утвердительный ответ, сказал. – Возрази против операции. Здесь нет специалистов по челюстно-лицевым ранениям. Я помогу тебе попасть на эвакуацию.

На другой день брата в санитарном поезде отправили в глубокий тыл, в город Анжеро-Судженск Кемеровской области. Ехали очень долго, но и на этом переезде госпитальные скитания не закончились. Из Анжеро-Судженска брата с несколькими ранеными прямо с вокзала на телегах отвезли в селение Мишиху в госпиталь, расположенный в бывшем доме отдыха. После непродолжительного лечения брата в сопровождении медсестры направили в Томск в военный госпиталь в глазное отделение. Здесь ему сделали операцию, чистили гайморову кость.

Ранило Мосягина 14 апреля, а выписали его из госпиталя через четыре месяца – 16 августа 1942 года и направили на пересыльный пункт.

Военврач, который помог брату получить правильное лечение раны, был хороший знакомый нашего отца, новозыбковский врач по фамилии Рапопорт.

На пересыльном пункте в Томске вдруг улыбнулась военная судьба моему брату. Его направили на обучение в офицерское Томское артиллерийское училище (конная тяга). Он сдал экзамены, но в самом начале занятий его перевели на трехмесячные курсы младших лейтенантов в эвакуированное в Томск Тульское оружейно-техническое училище с уклоном на легкую противотанковую артиллерию. Фронт постоянно испытывал недостаток младшего офицерского командного состава.

Дважды помеченный немецким боевым металлом, мой брат, рядовой солдат Федор Мосягин, к концу 1942-го года в 19 лет от роду получил офицерское звание младшего лейтенанта и вернулся на фронт. Наград у него не было, но на его диагоналевой гимнастерке были закреплены две нашивки – одна желтая за тяжелую рану и одна красная за легкое ранение.

Дорога на Берлин

Два года войны младшего лейтенанта, а потом и лейтенанта Мосягина прошли в передовых частях Красной Армии. Прежде чем занять должность специалиста по артиллерийскому вооружению, ему довелось побывать командиром стрелкового взвода, послужить офицером связи, а одно время он был командиром взвода конной разведки. К лету 1943-го года его перевели в полковую артиллерийскую мастерскую. Мастерская обеспечивала техническое обслу-

живание артиллерийского парка полка и постоянно находилась в непосредственной близости от огневых позиций артиллеристов. А поскольку артиллерия в полку в основном была противотанковая, то это и определяло близкое расположение мастерской от передовой линии.

О том, как воевал брат, могут в какой-то мере свидетельствовать некие официальные документы. В Великой Отечественной войне отличившихся в боевых действиях солдат сержантов и офицеров было принято отмечать объявлением «Благодарности» Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза товарища Сталина. «Благодарность» представляла собой листок бумаги размером в половину писчего листа, красиво оформленный графическим изображением всяческой военной атрибутики с портретом Сталина в центре композиции. Текст был стандартным, сверху вписывалось воинское звание, затем имя и отчество награжденного. Ниже стояло: «Вам приказом Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза товарища Сталина от [указывается дата] объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ за отличные действия в боях за освобождение города – [вписывается название города]». Вариантов не было, менялось только название города или объекта боевых действий. Благодарность подписывалась командиром части.

Лейтенант Мосягин Ф. П. получил восемь «Благодарностей»:

«За освобождение города Гомеля» – 14 ноября 1943 года;

«За прорыв обороны и форсирование реки Друть» – 25 июня 1944 года;

«За освобождение города Волоковск» – 14 июля 1944 года;

«За освобождение города Белосток» – 27 июля 1944 года;

«За вторжение в южные районы Восточной Пруссии» – 21 января 1945 года;

«За овладение городом Вилленберг» – 23 января 1945 года;

«За овладение городом Мельзак» – 17 февраля 1945 года;

«За овладение городом Браунсберг» – 20 марта 1945 года.

Кроме выше перечисленных «Благодарностей», лейтенант Мосягин был награжден орденом Красной звезды. За все это время мой брат ни разу не был ранен, судьба хранила его, словно он уже оплатил своей кровью жестокий счет войны.

Последняя «Благодарность», полученная Мосягиным в Восточной Пруссии, отмечена двадцатым числом марта. После этого с 6 по 10 апреля брат принимал участие в жесточайших боях за овладение городом Кенигсберг. После взятия Кенигсберга воинская часть, в которой служил лейтенант Мосягин, была переброшена из Восточной Пруссии к Франкфурту-на-Одере, а затем в Германию на штурм Берлина.

Последний бой лейтенанта Мосягина

На юго-восточной окраине Берлина 24 апреля 1945 года соединились два фронта: 1-й Белорусский и 1-й Украинский – и рассекли вражескую группировку на две части; в результате чего главные силы 9-й армии и часть сил 4-й танковой армии немецко-фашистских войск были отрезаны от Берлина. В этих боях принимал участие полк, в котором служил мой брат. 29 апреля стало известно, что на Берлин со стороны Чехии движется эсэсовская группировка. Часть войск получила приказ развернуться на юго-восток от Берлина.

«Форсированным маршем мы двигались к месту назначения и во второй половине дня заняли оборону перед мостом, вблизи водной преграды в лесу, – рассказывал мне брат. – По пути следования разрозненные группы немцев пытались вступать с нами в бой, но серьезного сопротивления они не оказывали, так как в основном это были фольксштурмисты».

Лейтенант Мосягин получил задание вернуться на место прежнего расположения полка и забрать там временно оставленные из-за нехватки транспорта боеприпасы и команду охраны. С группой бойцов на нескольких конных упряжках лейтенант без особых трудностей быстро добрался до знакомого места. Бойцы погрузили снарядные ящики на подводы и, не теряя вре-

мени, двинулись в обратный путь. В сумерках выбрались на хорошую дорогу и пошли на рысях. Все складывалось нормально, но война полна неожиданностей. Впереди, на дороге, показалось рассеянное неяркое мелькание огней и послышался звук автомобильных моторов. Лейтенант приказал ездовым принять поближе к обочине и продолжать движение, а сам решил узнать, кто продвигается к Берлину. Он перешел дорогу. Было совсем темно. Механизированная воинская колонна быстро двигалась по дороге. Грузовые машины, покрытые брезентом, мотоциклисты, на галопе несущиеся конные упряжки, всадники, – все это быстро проносилось мимо. Мелькнуло шальное предположение: «А может быть, кто-то из русских драпанул?». Он сигнализировал рукой пытаясь остановить какую-нибудь машину. О том, что это может двигаться немецкая колонна, у него и мыслей не было. Главное, что его беспокоило, так это предположение, что это его часть срочно меняет позицию. Это он и хотел установить. Машины проезжали мимо и вдруг один грузовой автомобиль с покрытым брезентом кузовом, неожиданно свернув к обочине, тормознул.

«Немцы!», – осознал лейтенант. Теперь он уже различал силуэты немецкой техники. Не отдавая себе отчета, зачем он это делает, не осознавая, к чему это может привести, он шел навстречу остановившейся машине и стрелял из пистолета по стеклам кабины. Немецкий автомобиль рванулся с места. Из кузова по лейтенанту ударили автоматные очереди, одна пуля задела правую руку чуть выше локтя, другой пулей его ранило в бедро левой ноги. Он упал на землю и быстро откатился в кювет. Пистолет, выпавший из раненой руки, но закрепленный на кожаном шнурке у пояса, оказался на земле рядом и лейтенант взял его в левую руку. Он пытался стрелять по колонне, пока не закончились в обойме патроны. Из одной машины по нему дали автоматную очередь и две пули вошли ему в правый бок. Теряя сознание, лейтенант услышал, что где-то поблизости началась сильная беспорядочная стрельба, но скоро стихла. Раненый в руку и в ногу с пулями в бок он лежал на земле и, приходя в себя, думал, что ему надо бы повернуться так, чтобы из него поменьше вытекало крови.

Когда начало светать, он очнулся. Двигаться он не мог, он только смотрел на шоссе. Через некоторое время он увидел, что по ближайшей к нему обочине дороги идут два немецких солдата и, тихо переговариваясь, ведут велосипед с прикрепленным к нему у руля белым флагом. Это было очень странно и он подумал сначала, что бредит. На всякий случай, он громко, как мог, закричал: «Ком, зольдатен! Ком!». Солдаты остановились, положили велосипед на землю и с опаской подошли к раненому русскому офицеру. Это были пожилые мужчины. Опустившись на колени, они бережно повернули лейтенанта на левый бок, расстегнули на нем шинель, задрали гимнастерку и принялись его бинтовать, но у них были бумажные бинты, очень быстро размокавшие от крови, и толку было мало. Лейтенант достал из кармана горсть патронов и знаками попросил немцев набить пустую обойму пистолета. Один из солдат выполнил эту просьбу и как только пистолет оказался в руке лейтенанта оба немца, пригнувшись, побежали к своему велосипеду, подняли его и скорым шагом удалились от умирающего, как им показалось, русского офицера.

Лейтенант остался один. Он все чаще терял сознание, а когда приходил в себя, стрелял в воздух. У него был бельгийский браунинг на четырнадцать патронов и он пытался считать выстрелы.

Эти выстрелы слышали наши саперы. На плащпалатке они понесли лейтенанта к своим машинам, дали глотнуть спирта, уложили на носилки и повезли в тыл. Было уже совсем светло. Открывая глаза, лейтенант видел убегающую назад дорогу.

Его привезли в медсанбат, как он узнал потом, это был 268-й МСБ 5-й Орловской Стрелковой дивизии. На носилках его занесли в помещение и положили на пол в коридоре у стены. Мимо пробегали медсестры, ковыляли раненые, кого-то пронесли на носилках, раздавались стоны, крики. Врач подошел не сразу. Осмотрел и приказал:

– Несите на стол! С лейтенанта стащили сапоги и гимнастерку с бельем, разорвали брюки, положили на операционный стол.

– Маску! Наркоз! Инструменты для ампутации!

Эти команды услышал хирург, работавший у соседнего стола.

Он подошел и осмотрел раны лейтенанта.

– Займись этим, – сказал он первому хирургу и указал на операционный стол, где лежал оставленный им раненый.

Подошедший хирург по обличию то ли кавказец, то ли еврей, был крупным мужчиной с большими волосатыми руками. Лейтенанту наложили маску.

– Считай! – велел хирург.

Лейтенант досчитал до полсотни.

– Считай дальше! Вслух считай! – командовал врач.

– ..Пятьдесят два, пятьдесят три, пятьдесят четыре... – едва шевеля губами, все больше путаясь, бормотал лейтенант.

– Ты слышишь меня? – донесся до него громкий голос хирурга.

Лейтенант слышал, но ответить не мог. Он видел себя на мотоцикле, кто-то кричал ему, чтобы он считал. На другом мотоцикле голубого цвета появился кто-то похожий на командира его полка, за ним ехали еще какие-то мотоциклисты, мелькнул номер 62... Потом все пропало.

Очнулся лейтенант в пустой комнате на носилках. Рядом на ящике сидел старший сержант и читал газету. Лейтенант попросил пить. Сержант сунул ему ко рту какое-то питье.

– Дай воды, – попросил лейтенант.

– Сначала выпей это, – настойчиво предложил старший сержант.

Лейтенант весь был в бинтах. Забинтованная середина туловища лишила его подвижности. Он приподнял насколько мог голову и посмотрел на одеяло, страшаясь того, что нет ноги. Оказалось – цела!

– Этот не отрезает, – сказал старший сержант, имея в виду волосатого хирурга. – Он бережет.

Это произошло 30 апреля 1945 года. Через два дня пал Берлин, а через девять дней была объявлена Победа в Великой Отечественной войне. В это время лейтенанту Мосягину было от роду 21 год. Ему не довелось встретить великий день Победы вместе со своими однополчанами. После четырехлетней войны вместо чувства ликования и свободы ему была предназначена долгая, длиною в полтора года, исполненная страданий и преодоления тяжелых недугов борьба за жизнь и здоровье. Стараниями и искусством врачей жизнь и силы постепенно возвращались в израненное тело молодого человека.

После 268-го медсанбата брату предстояли скитания по полевым госпиталям и санитарным летучкам, после чего он лечился в эвакуогоспиталях в польских и немецких городах: Лодзь, Згеж, Бад-Ландек. Зимой 1946-го года в теплушке санитарного поезда его вместе с другими ранеными перевезли в Глейвитц. От этого немецкого города шла железнодорожная колея российской ширины и 16 февраля санитарным поездом лейтенант Мосягин был отправлен в Россию, в город Уфу. Здесь в стационарном госпитале брат лечился долгих семь месяцев, отсюда 19 сентября 1946 года лейтенант Мосягин был выписан инвалидом Отечественной войны второй группы и направлен по месту жительства в город Новозыбков.

Больше, чем на год после Победы, продлилась для брата его война. Более пяти лет продолжалась его дорога от Новозыбкова до Москвы, от Москвы до Берлина и от Берлина до Новозыбкова. Из дома на войну он ушел семнадцатилетним, здоровым начинающим жить человеком, а вернулся с войны домой двадцатидвухлетним инвалидом. Он хромал на обе ноги, его донимали головные боли, здоровье было слабым, и его еще несколько раз долечивали в госпиталях.

Но надо было жить!

В материальных недостатках и голоде послевоенных лет он закончил вечернюю среднюю школу, а потом политехнический институт, где получил профессию горного инженера. Офицер армии-победительницы, инвалид Великой Отечественной войны, будучи студентом, на хромых ногах он ходил по ночам на железнодорожную станцию разгружать вагоны, чтобы помочь прокормиться жене и маленькому ребенку. Ни на войне, ни в трудовой жизни он никогда не прятался за чужие спины. Рядом с боевыми наградами у него – три степени знака «Шахтерская слава».

Декабрь 2007 года

Пьетро и Ксения Фёдоровна

В начале апреля 1943-го года в оккупированном немецко-фашистскими войсками Новозыбкове появились итальянские солдаты. Их было много и немецкая комендатура разместила их в пустовавших корпусах больницы имени 10-летия Октября. С первых же дней пребывания в городе итальянцев было заметно, что отношения между ними и немецким начальством были совсем не похожи на обычные взаимоотношения равноправных солдат одной армии, воюющей под одними знамёнами и под одним командованием.

Для местного населения, что немцы, что итальянцы были одинаково солдатами враждебной армии и воспринимались не иначе как представители чужеземной власти, преисполненной угрозы и насилия.

На самом же деле всё было не так однозначно: власть в городе принадлежала только немцам, а итальянцы находились в полном подчинении у немецкого командования, и в этом отношении итальянцы приравнивались в какой-то мере к местному населению.

Фашистская Италия в июне 1941-го года вместе с фашистской Германией вступила в войну против Советского Союза и послала на фронт 8-ю Ударную армию. Зимой 1942-го – 1943-го года эта армия была разгромлена советскими войсками на Среднем Дону. Одновременно с этим поражением в России итальянские войска были разгромлены англичанами в Африке. Эти непрерывные военные поражения, ухудшение положения в стране, рост недовольства населения и угроза антифашистского восстания заставили правительство Италии поспешить с выходом из войны.

В этих условиях немецким командованием было принято решение о снятии остатков итальянских войск с боевых позиций советского фронта и о перемещении их в тыл.

В какой тыл перемещали немцы вышедших из войны итальянских солдат – домой в Италию или в концлагеря на территории Германии, этого ни итальянцы, ни русские жители оккупированного Новозыбкова ранней весной 1943-го года, конечно, не знали. Итальянцы были уверены, что они возвращаются на свою родину.

Но у войны свои законы. Не убитый в бою солдат во время войны имеет только два варианта своего существования на земле: или быть солдатом своей армии, или стать военнопленным во вражеском государстве. Итальянцы весной 1943-го года перестали быть солдатами немецкой армии, но военнопленными в ней они пока ещё не стали.

В этом была опасная неопределённость их положения.

Размещённая на жительство в городской больнице итальянская военная часть была совершенно не похожа на нормальное воинское подразделение регулярной армии. С территории больницы ни разу не доносилось сигналов распорядка дня, в город итальянские солдаты ни разу не выходили строем, а всё больше по двое, по трое, а то и просто весёлой приятельской гурьбой. На немецких солдат они совсем не походили, это были совершенно другие люди как по внешности, так и по поведению.

Немецкие солдаты и офицеры всегда ходили по городу в строгой военной форме, затянутые в ремни и застёгнутые на все крючки и пуговицы своей амуниции.

Итальянские солдаты, похоже, совсем не были озабочены соблюдением присущего военнослужащим внешнего воинского вида. Они появлялись на улицах в расстегнутых шинелях без поясов и хлястиков, в кое-как надетых пилотках, а то и совсем без них, с расстегнутыми воротниками кителей и всегда без оружия. Они запросто и непринуждённо держались с местным населением и никакой вражды к русским не проявляли. Они азартно разговаривали между собой и, нисколько не стесняясь незнания русского языка, то и дело вступали в беседы с местными жителями, особенно с женщинами, что-то весёлое сообщая им или что-то спрашивая

у них, постоянно улыбаясь и очень располагая к себе простотой, весёлостью и доброжелательностью обхождения.

Тихими, погожими вечерами со стороны больницы часто доносились красивая музыка аккордеона или мелодичная итальянская песня.

Немецкие солдаты никогда не пели. Разве иногда можно было услышать, как развеселившийся какой-нибудь ефрейтор развлекал своих товарищей игрой на губной гармошке. Но это было ничто по сравнению с мощным гармоничным звучанием итальянского аккордеона.

Немцы пели только в строю.

Однажды со стороны Красной улицы, мимо синагоги, через мост на Базарную площадь строевым шагом двигалась колонна немецких солдат. В полном боевом снаряжении: в серых шинелях, в касках, с ранцами за спиной и автоматами поперёк груди – они шли, сохраняя строгое равнение в рядах, тяжко громыхая коваными сапогами по булыжной мостовой. При этом они пели строевую песню. Грубые мужские голоса звучали внушительно и даже грозно. Отрывистый ритм песни и чёткий тяжёлый шаг хорошо обученных пехотинцев производили впечатление несокрушимости и бездушия.

Дисциплина армейского строя всегда отделяет простого человека от того, кто стоит или марширует в строю. Немецкие солдаты в строевой колонне казались редким прохожим людьми, совершенно отстранёнными от обычной жизни, а их суровая песня только усиливала это впечатление. Немецкая колонна прошла через Базарную площадь и повернула на Коммунистическую улицу.

Итальянские солдаты подобной маршировкой никогда не занимались, у них были другие дела – поинтересней.

С приближением католической пасхи итальянцы в клубе фабрики «Волна революции» начали репетировать какое-то музыкальное представление. Сторож клуба, сохранивший свою должность с доокупационного режима и насмотревшийся на своём веку множества всякого сценического лицедейства, был весьма удивлён необычностью «постановки», которую разыгрывали итальянцы. Сидя в тёмном зале, он с недоумением следил за репетицией итальянских артистов и никак не мог взять в толк, что же такое происходит на сцене.

А на сцене происходило действительно что-то непонятное.

За роялем сидел в накинутах на плечи шинели очень грузный и очень кудрявый итальянский солдат. Он легко и свободно играл мелодии неаполитанских песен, умело соединяя их беглыми вариациями в единую очень певучую музыкальную пьесу. Его игра производила такое впечатление, что, казалось, он может сыграть любую музыку. Но играл он странно и необычно, потому что все исполняемые им, порой очень сложные, пассажи вдруг совершенно неожиданно переходили в незамысловатый мотив советской «Катюши». Импровизируя, пианист непринужденно переходил от «Катюши» к песенке герцога из «Риголетто», потом выдавал что-то неаполитанское и снова возвращался к «Катюше».

Под эту музыку на сцене разыгрывалось некое действие, не очень понятное и непохожее ни на обычный программный концерт, ни на оперетту, ни на выступление какой-нибудь самодеятельности. Итальянские солдаты как-то перемещались по сцене, обменивались короткими репликами, пели то вместе хором, то поодиночке, и постоянно в их итальянской речи слышалось русское слово «Катюша», особенно в тех случаях, когда звучали несколько фортепианных тактов этой песни.

Руководил этим мероприятием очень подвижный солдат с высоким и красивым голосом. Он переходил от одного исполнителя к другому, что-то говорил им или пел с ними вместе, одновременно подавая знаки то аккомпаниатору, то другим участникам этой необычной репетиции.

Сторож клуба очень скоро утратил интерес ко всему, чем занимались итальянцы на сцене. Он рассказывал, что итальянские солдаты – ребята хорошие, но в артисты совсем не годятся и на рояле никто из них играть не умеет.

– Сколько ни старался их музыкант, а нашу «Катюшу» так и не сумел сыграть. Только начнёт подбирать, потом раз – и сбивается. Солдаты, случалось, уже и петь начнут «Катюшу», правда, по-своему, а этот у рояля ни с того, ни с сего вдруг – стоп – и опять играет другую музыку. Возьми нашу самодеятельность: объявят номер, выйдет участник концерта – и, пожалуйста, чин чином всё и споёт, как следует. А тут все слоняются по сцене, а толку никакого.

Сторож явно был недоволен артистическими способностями итальянских солдат. Те же, кто слушал его рассказы, не очень-то доверяли ему, но познакомиться со сценическим творчеством итальянцев, к сожалению, никому в Новозыбкове не довелось. Выступление их на сцене фабричного клуба по неизвестным причинам не состоялось.

Немцы плохо кормили итальянских солдат. Каждый день на свою кухню в больнице они возили подмороженную картошку то ли из каких-то городских хранилищ, то ли со станции.

Тощий мул, запряжённый в огромные русские сани, упорно трудился в непривычной для него упряжке. По обочинам тротуаров бежали мутные ручьи талой воды, обнажённые солнцем, темнели камни булыжной мостовой, а по ним со скрежетом ползли тяжелые розвальни с укреплённым на них коробом, наполненным картошкой. Мул плёлся впереди, солдаты дружно помогали ему, подталкивая сани, животное тяжело дышало, вода боками, а солдаты переговаривались, смеялись, и случалось, что кто-то из них начинал петь, и тогда деревянная улица русского города наполнялась очень красивыми звуками итальянской мелодии.

Неподалёку от больницы, в небольшом деревянном домике, терпеливо и скромно переживала оккупацию маленькая русская семья, состоящая из двух человек: довольно пожилой женщины и её 14-летнего внука Юры. Женщину звали Ксения Фёдоровна. На её, не таком уж долгом, веку это была вторая оккупация Новозыбкова. Первый раз Новозыбков был оккупирован немцами в Первую мировую войну в 1918-м году. Та оккупация была не такой жестокой, как эта. Армия в то время не воевала с народом, и воюющие государства не ставили перед собой задачи уничтожения населения на захваченных территориях. Прошли годы, и мир стал более жестоким, чем прежде, и человеческая жизнь в нём утратила свою ценность.

Во всем этом Ксения Фёдоровна имела возможность убедиться на собственном жизненном опыте.

Когда-то она закончила Новозыбковскую женскую гимназию, и её душой тогда владели весьма туманные и несколько романтические представления о жизни. Ранняя смерть матери, появление в доме мачехи, а затем и смерть любимого отца сделали её жизнь в родном доме невыносимой. Ей повезло – она вышла замуж. Легко расставшись с мечтаниями юности, она стала хорошей женой своему мужу и хорошей хозяйкой в его доме.

Но в середине тридцатых годов образовалось немалое число врагов народа, которые всячески вредили и мешали коммунистической партии строить коммунизм. Так писали в газетах. В то время многих хороших людей арестовывали, ссылали и расстреливали. Особенно много арестов было в 1937-м году; тогда забрали мужа сестры Ксении Фёдоровны, забрали нескольких мужчин из хороших семей на улице, где она жила. Осенью того же 1937-го года дошла очередь и до мужа Ксении Фёдоровны. Его арестовали прямо на работе, и она даже не простилась с ним. Ни сестра Ксении Фёдоровны, ни она сама никогда больше о своих мужьях ничего нигде не могли узнать. Были люди – и не стало их.

Но на этом несчастья Ксении Фёдоровны не кончились. Через год забрали её сына, отца Юры, кадрового военного, служившего в армии. Невестка привезла к Ксении Фёдоровне из Гродно своего девятилетнего сына и попросила свекровь, чтобы мальчик какое-то время пожил у неё. Она сказала, что поедет в Тамбовскую область, в Моршанск, где живут её родственники, и, как только устроится там с жильём и работой, сразу же заберёт Юру к себе. Ксения Фёдо-

ровна за два года получила от неё всего только четыре письма и несколько почтовых переводов на небольшие денежные суммы. В последнем письме невестка просила ответа ей не писать, так как она предполагала, что место жительства её должно перемениться и что она по разрешению этого вопроса напишет сама. Это было за год до начала войны. С того времени писем от неё не было. Что с ней произошло, Ксения Фёдоровна не могла себе представить.

Оставшись одна, после того, как у неё не стало ни мужа, ни сына, Ксения Фёдоровна устроилась на работу в больницу уборщицей. Она убирала не в новом, построенном к 10-летию Октября корпусе, а в отдельных деревянных домиках, разбросанных по территории. Она не жаловалась и не роптала, только больше стала молиться Богу.

Внук, единственный сын её погибшего сына, стал для неё тем единственным существом на всём белом свете, ради которого надо было жить. Зимой 1943-го года Юра долго болел. Сначала казалось, что у него обычная простуда, но болезнь затягивалась, и Ксения Фёдоровна обратилась за помощью к знакомому санитару из больницы Карпу Ивановичу. Он сразу же определил, что у мальчика воспаление лёгких, помог с лекарствами и рассказал, как надо ухаживать за больным. Долгие ночи Ксения Фёдоровна просиживала у постели внука. Бог услышал её молитвы. Юра поправился.

А потом наступила весна.

Юра всегда был сдержанным и серьёзным мальчиком, он хорошо учился в школе и много читал. Ксении Фёдоровне казалось, что после болезни он стал ещё более сосредоточенным и как будто повзрослел. Это беспокоило Ксению Фёдоровну, но повседневные заботы о пропитании и другие дела отвлекали её от тревожных мыслей.

Ксения Фёдоровна в который раз пересматривала свои вещи, отбирая, что ещё можно обменять на продукты. Всё, что оставалось от мужа, она давно уже реализовала, и самое ценное, что теперь имелось у неё – это штатский костюм сына, который невестка привезла ей после ареста мужа вместе с кое-какими другими его вещами.

С горькой слезой вспоминала Ксения Фёдоровна, как ещё до войны находился покупатель на этот костюм, и она намеревалась его продать, но Юра, тогда ещё совсем маленький мальчик, попросил: «Бабушка, ты не продавай этот пиджак, он папой пахнет». Юра об этом, конечно, давно забыл, а у Ксении Фёдоровны не переставала болеть душа.

Когда в больнице разместили итальянцев, Ксения Фёдоровна очень обеспокоилась. Полтора года они с внуком сравнительно благополучно прожили в оккупации, и теперь ей было тревожно от любых изменений установившегося порядка их существования. Она часто видела итальянцев на улице, знала, что они заходили к соседям и ничего плохого от них никому не было, посидели, поговорили по-своему и всё. То, что они не такие, как немцы, Ксения Фёдоровна понимала, но ей не хотелось, чтобы итальянские солдаты заходили в её дом. Она просто боялась их.

Она боялась любых представителей власти, кем бы они ни были: немцами, итальянцами или русскими.

Но как бы она не хотела этого, итальянцы всё-таки зашли к ней. Она мыла крылечко, когда открылась калитка и к ней приблизились два итальянских солдата. Один был черноглазый, смуглый здоровяк с открытой улыбкой, в хорошем кителе и пилоткой в руке, а другой – маленький, с нездоровым цветом лица, в старой шинели без пояса и без хлястика, в пилотке, натянутой на уши опущенными вниз крыльями.

– *Buongiorno*², мама! – широко улыбаясь, приветствовал Ксению Фёдоровну высокий солдат.

– Здравствуйте, – проговорила Ксения Фёдоровна и, выкрутив тряпку, положила её рядом с огромными жёлтыми ботинками солдат.

² «Доброе утро» (итал.). – Прим. ред.

– Grazie, спасибо, мама! – живо откликнулся высокий солдат, в то время как его товарищ безучастно смотрел на Ксению Фёдоровну и молчал.

Солдаты старательно вытерли ноги и прошли в дом. Низкорослый солдат остался на кухне у порога, а высокий прошёл дальше. Ксения Фёдоровна тоже осталась на кухне и слышала, как высокий солдат поздоровался с Юрой, что-то говорил ему по-итальянски, смеялся. Ксения Фёдоровна не испытывала ни чувства страха, ни беспокойства, ей было просто неловко от своей неприветливости и скованности. Но по-другому отнестись к своим незванным гостям она не могла.

– Садитесь, – указала она на табурет оставшемуся на кухне с ол дат у.

Он сел, опустив голову, молча и безучастно глядя себе под ноги. А в другой комнате высокий солдат говорил Юре:

– Io pitoro, capito! Pitoro!³ – и постукивал себя ладонью по груди.

– Не понимаю, – отвечал Юра. – Мы в школе немецкий учили, а по-итальянски я не понимаю.

Юре было не страшно, ему даже нравился этот весёлый шумный итальянец, так забавно пытавшийся что-то ему объяснить.

– Rafael – pitoro! Michelangelo – pitoro!⁴ – горячился солдат.

– А-а, Рафаэль! Знаю – художник. Микеланджело тоже знаю. – Юра поспешил вытащить из этажерки папку с репродукциями и показал солдату лист с изображением головы Давида.

Солдат обрадовался. Указывая пальцем на репродукцию, он блеснул глазами и улыбался.

– Michelangelo – pitoro, – сказал он и, указывая пальцем себе в грудь, веско заявил. – Io pitoro. Capito?

– Вы художник, – догадался Юра.

– Sì⁵, худо-ж-ник. Pitoro! – возликовал итальянец, жестикулируя правой рукой, словно в ней была кисть.

Он взял из рук Юры репродукцию и поставил её на верхнюю полку этажерки, для чего ему пришлось отодвинуть в сторону собачку с задранном вверх хвостиком и маленького ослика. На собаку он сказал, что она mezzo coda⁶, а на ослика – asino⁷. Он потрепал Юру по плечу и вышел на кухню. Его товарищ уже поднялся с табуретки и стоял у двери рядом с Ксенией Фёдоровной.

– Andiamo al bazar⁸, – бросил ему высокий солдат.

Потом он осторожно взял Ксению Фёдоровну за руку, чуть-чуть пожал её и с белозубой улыбкой сказал:

– Arrivederci⁹, мама.

Закрывая за собой дверь, он обернулся и, заметив в углу иконы, посерьёзней и почтительно проговорил:

– Madonna¹⁰.

Они ушли, громыхая по мостикам подкованными железом ботинками. Ксения Фёдоровна опустила на табурет, на котором только сидел её гость. К ней подошёл Юра:

– Ну, что ты, бабушка? Чего ты испугалась? Все же говорят, что они не такие, как немцы, и против нас воевать не хотят. Ты не бойся, бабушка.

³ «Я художник, понимаешь! Художник!» (итал.). – Прим. ред.

⁴ «Рафаэль – художник! Микеланджело – художник!» (итал.). – Прим. ред.

⁵ «Да» (итал.). – Прим. ред.

⁶ «Куцехвостая» (итал.). – Прим. ред.

⁷ «Осёл» (итал.). – Прим. ред.

⁸ «Пошли на базар» (итал.). – Прим. ред.

⁹ «Увидимся» (итал.). – Прим. ред.

¹⁰ «Богоматерь» (итал.). – Прим. ред.

– Господи! – подняла Ксения Фёдоровна свой взгляд к иконам и перекрестилась. – Они ведь католики и больше поклоняются Деве Марии. Хотя кто их знает, кому они теперь поклоняются и во что верят?

После этого случая итальянские солдаты ещё только один раз приходили к Ксении Фёдоровне вдвоём, а потом высокий солдат перестал к ней ходить, очевидно, завёл себе более интересное знакомство. Зато его товарищ, маленький, чуть повыше Юры, бледный, совсем не похожий на итальянца, солдатик начал ежедневно навещать Юрину бабушку. Как правило, под вечер без стука он появлялся на кухне, произносил своё постоянное *buona sera*¹¹, садился на табурет в углу у стола и просиживал так, когда полчаса, а когда и меньше. Ксения Фёдоровна сначала чувствовала себя неловко от присутствия молчаливого гостя, а потом приноровилась с его приходом заниматься каким-нибудь делом вроде вязания, штопки или починки одежды.

Итальянец в разговор с Ксенией Фёдоровной ни разу не пытался вступать. Это было технически невозможно и он, видимо, понимал это. Иной раз Ксения Фёдоровна думала, пусть бы он хоть что-то сказал, пусть это будет непонятно, но всё же это было бы каким-то подобием разговора. Но итальянец постоянно молчал и, кажется, никакого дискомфорта от этого не испытывал.

Как-то раз Ксения Фёдоровна дала ему доесть оставшуюся от обеда картошку. Солдат поблагодарил и съел, а на другой день он вытряхнул на стол из кармана шинели немного сероватой грязной соли. Забавно жестикулируя, он рассказал о том, как приобрёл эту соль. Из его рассказа Ксения Фёдоровна поняла, что он сделал «хап» и сунул горсть соли в карман, когда отвернулся повар. Ксения Фёдоровна убрала соль в коробку, а солдата угостила борщом. С этого дня она старалась хоть немного подкормить итальянца, что было очень непросто при жёсткой ограниченности в продуктах. Разговора с ним не получалось, и Ксения Фёдоровна только и узнала, что зовут его Пьетро, а дальше этого знакомство у них не пошло.

– Бабушка, а почему он к нам ходит, этот солдат? – спросил как-то Юра.

– Да кто ж его знает? – ответила Ксения Фёдоровна. – Ходит и всё. Как ему запретишь? Только он же никому не мешает.

Ксения Фёдоровна немного лукавила: ей не хотелось даже самой себе признаться в своём чисто женском сердоболии по отношению к Пьетро. Недавно он показал ей фотографию, на которой была снята его семья. Пожилые отец и мать сидели прямо и строго, одинаково положив себе на колени крупные кисти рук, за их спинами стояли трое их детей: Пьетро, его брат и сестра. По всему было видно, что люди они небогатые и праздничные костюмы, в которых они сфотографировались, надевались ими не часто. От всей души Ксения Фёдоровна пожелала Пьетро вернуться живым и здоровым домой к своим родителям. Он, конечно, не понял, что она говорила, но чувствовал доброту в её интонациях и видел сочувствие в её глазах, и поэтому, принимая из её рук фотографию, он несколько раз сказал ей:

– Grazie, signora¹².

Прожив полтора года в оккупированном городе, Ксения Фёдоровна очень опасалась немцев и полицейских. В самом начале оккупации, когда никто не знал, как придётся жить под немцем и как немцы будут обращаться с русским населением, когда всё было непонятно и боязно, в городе начали расклеивать приказы и распоряжения немецкой комендатуры. Содержание этих приказов и распоряжений было разное, а окончание у всех было одинаковое: «...за неподчинение – расстрел», «...за невыполнение – расстрел», «...за нарушение – расстрел». Под впечатлением от этих расстрельных приказов Ксении Фёдоровне с её постоянной тревогой за внука однажды приснился сон. Как будто Юра расклеивал по городу советские листовки и, скрываясь от немцев, на бегу потерял с ноги свой ботинок. Ксения Фёдоровна отчётливо,

¹¹ «Добрый вечер» (итал.). – Прим. ред.

¹² «Спасибо, госпожа» (итал.). – Прим. ред.

как наяву, видела ручей неподалёку от калининской школы и в грязи, у самой воды, ботинок Юры. Она со страхом поняла, что по этому ботинку немцы разыщут Юру. От непереносимого ужаса она проснулась и, пробудившись, подумала: почему Юра не вернулся за своим ботинком, почему не разыскал его? Темно что ли там было, или нельзя было возвращаться?

Отдавая себе отчёт в том, что это был только сон, Ксения Фёдоровна, тем не менее, много дней никак не могла успокоиться. К тому же в первый месяц оккупации на улице, где она жила, случилось большое несчастье. Витя Дёмин, шестнадцатилетний парень из малознакомой Ксении Фёдоровне семьи, то ли самостоятельно, то ли по чьему указанию пошёл к Новому Месту и поджёг там скирду соломы. Его схватили там и расстреляли. Подробностей никто не знал. Это потрясло Ксению Фёдоровну. Она очень боялась, что под впечатлением советских патристических призывов, которыми были насыщены радиопередачи и газеты в начале войны, Юра так же может совершить какой-нибудь пагубный для себя и абсолютно бесполезный поступок, направленный, по его мнению, против немецких оккупантов. Но постепенно страхи её рассеялись, внук тогда был ещё мал и поведение его не вызывало опасений.

Ксения Фёдоровна решила для себя, что жить в оккупации следует так, чтобы не привлекать к себе постороннего внимания, не заводить никаких знакомств и во всех случаях держаться подальше и от немцев, и от полицейских, и от разных случайных людей. «Но вот Пьетро, – думала Ксения Фёдоровна, – зачем он приходит? Что ему надо? Общаться с ним невозможно, подкормить его просто нечем. Станный человек».

Она не испытывала неприязни к Пьетро и не боялась его, но ей было бы спокойней, если бы этот итальянец пореже заходил к ней, а ещё лучше, если бы он совсем не появлялся в её доме. Посещения Пьетро беспокоили Ксению Фёдоровну.

Из трёх мужчин, что были в её жизни – мужа, сына, внука, родная Советская власть оставила ей в живых пока только одного внука. И она просто не могла не опасаться любого, на первый взгляд даже самого безобидного, вмешательства в её жизнь, так как ничего хорошего ни для себя, ни для внука ни от кого она не ожидала.

Уберечь, спасти, вырастить внука – только этого она и хотела, только об этом были все её помыслы и заботы.

Юра к визитам Пьетро относился довольно иронически.

– Вон опять твой макаронник идёт, – говорил он бабушке, когда стучала калитка и мимо окон во дворе мелькала знакомая фигура итальянского солдата. Юра скрывался в другую комнату и не показывался оттуда, пока на кухне разыгрывалась немая сцена между бабушкой и Пьетро. Впрочем, Юре было совершенно безразлично присутствие итальянца, просто он не умел и не знал, как можно с ним общаться.

Когда окончательно растаял снег, просохла и зазеленела земля, Юра стал больше встречаться с товарищами, больше времени проводить на воздухе. Это было для него полезно и необходимо после тяжёлой зимы. Ксения Фёдоровна всегда знала, куда ходит Юра, с кем встречается, но всё же волновалась, когда он уходил из дому, и всегда с беспокойством ожидала его возвращения домой. Товарищи внука ей были хорошо знакомы: Алексей Копытин, Коля Маляров – одноклассники Юры и его друзья с раннего детства. Они читали одни книги, играли в шахматы, вместе ходили в кино, вместе катались на лыжах зимой и играли в футбол летом. Эти мальчишки расставались с детством, но в них ещё очень много было детского и домашнего.

Однажды Юра сказал бабушке:

– Сегодня с Алексеем были на стадионе. Всё просохло, трава на поле выросла, а играть в футбол некому.

– Война, – отреагировала Ксения Фёдоровна, – не до футбола теперь. Ты бы, Юра, не ходил туда. Мало ли что. Этот заводила Алексей всюду бродит. Тянет его, куда не надо.

Ксения Фёдоровна не придавала особого значения этому разговору, но он оказался намного значительнее, чем она могла предполагать. Во-первых, её взгляды на войну и футбол не совпа-

дали со взглядами внука, а во-вторых, Алексей в данном случае не был заводилой, а оба они – и Алексей, и Юра – договорились собрать знакомых ребят и поиграть на стадионе в футбол. До войны и мечтать не приходилось о том, чтобы не где-нибудь посреди улицы между канавами, не в конце какого-то переулка, где растут лопухи да крапива, а на настоящем футбольном поле погонять мяч, никому не мешая и не опасаясь высадить чьё-то чужое окно. Можно ли устоять перед таким соблазном!

Но главное было даже не в этом. Главное было в том, что у Алексея имелся самый настоящий футбольный мяч с кожаной покрышкой и камерой.

Этот мяч имел не очень весёлую историю. У Алексея был дружок, соседский мальчик Хаим Элькин. Летом 1941-го года он с родителями уезжал в эвакуацию и оставил этот мяч Алексею.

– А как же ты? – спросил Алексей, не торопясь принимать дорогой подарок.

– Мы ещё точно не знаем, как у нас всё сложится, – ответил Хаим. – Какие будут условия там, где мы будем жить? Бери, Алёша. Вы же здесь останетесь, и ты, и Юра, и Коля. Играйте. Отдадите, когда я вернусь.

С футбольным мячом Хаима было связано очень много хорошего. Ведь на ближайших улицах этот футбольный мяч был единственным. Чёрт знает, чем играли мальчишки в футбол! Хорошо, если у кого имелся маленький резиновый мячик, а то просто набивали тряпками кусок старого чулка, зашивали с двух сторон и гоняли по траве это безобразие до тех пор, пока из него кишками не вылезала начинка. И вдруг Хаиму за год до войны тетя из Гомеля привезла настоящий футбольный мяч. Вот было радости! К тому же Хаим был очень хорошим пацаном, он не задавался, не воображал, а запросто всегда давал играть свой мяч даже и в тех случаях, когда по каким-нибудь причинам сам принять участие в игре не мог. Ни тётя, которая целое лето прожила в Новозыбкове, ни родители не запрещали ему так поступать. Хаим уехал, а его мяч остался у Алексея. И вполне естественно, что подошло время этому мячу быть использованным по назначению.

Юра с Алексеем рассудили так: за всё время оккупации никто ни разу не слышал о том, чтобы немцы запрещали ходить на городской стадион, мало того, стадион второй год пустовал, и ни городская управа, ни немецкая комендатура не проявляли к нему никакого интереса. Даже сторожа на стадионе не было.

– Прогонят – уйдём, – решил Алексей, и Юра с ним согласился.

Бабушке об этой затее Юра ничего не сказал: «Зачем её волновать, поиграем часок и по домам».

Компания подобралась небольшая, всего восемь человек, и потому играли в одни ворота. Алексей, Юра и ещё один мальчишка с Красной улицы были в защите, на ворота встал Коля Маляров, а остальные четверо ребят нападали. Игра сразу пошла хорошо. Как будто ни войны, ни оккупации, ни ночных бомбёжек – ничего не было, всё как-то отошло, забылось. По зелёному футбольному полю, поросшему свежей травой, бегали за мячом мальчишки, охваченные задорным стремлением к успеху и победе, как это всегда бывает в настоящей футбольной схватке. Уже были пропущены голы, уже были принципиальные выяснения отношений защитников с нападающими, были одиннадцатиметровые удары, были хорошие броски вратаря, словом, всё шло хорошо. Так оно могло бы продолжаться, так оно могло бы и закончиться, но случилось, что в это время мимо стадиона проходила группа итальянских солдат. Взлетающий над оградой мяч и игровой шум привлекли внимание итальянцев, и они завернули на стадион. Сначала они просто смотрели, как играли русские мальчишки, а потом мало-помалу один за другим подключились к игре.

Совместный футбол с итальянскими солдатами не получился: обутые в тяжёлые ботинки, крупные мужчины были неравными партнёрами для ребят, и мальчишки постепенно вышли из игры. Больше всех продержался Алексей, но, сбитый с ног и чудом увернувшийся от сол-

датского ботинка, он тоже оставил игру и присоединился к своим товарищам, скучавшим на травке за футбольными воротами. К ним подошёл один из итальянцев и принялся что-то быстро и горячо объяснять, показывая на часы и на выход со стадиона, из чего, вероятно, следовало понять, что они немного поиграют и уйдут.

Крепкие ботинки солдат взрывали покрытую молоденькой травкой землю, а мяч от сильных ударов мужских ног взлетал в воздух чуть ли не вровень с куполами стоявшего неподалёку Михайловского собора. Но самым неожиданным для Юры было то, что среди игравших в футбол итальянцев он увидел Пьетро. Против всякого ожидания Пьетро оказался довольно бойким футболистом, он ловко отыгрывал мяч, успешно проводил его к штрафной площадке и очень точно бил по воротам.

Судя по азарту и увлеченности игрой, нельзя было надеяться на то, что итальянцы скоро оставят это занятие.

Ребята начали скучать.

– И откуда они только взялись, – сказал Коля Маляров. – Жди их теперь, пока они наиграются.

– Знал бы Хаим, кто будет играть его мячом, – откликнулся Алексей. – В общем, влипли.

Он предложил ребятам расходиться:

– Зачем тут всем торчать? Может, кому домой надо. Мы с Юрой подождём.

Но никто домой и не ушёл, решили ждать, пока итальянцы отдадут мяч. В это время на стадионе появились два немецких офицера. Они так же, как перед этим итальянцы, сначала со стороны наблюдали за игрой, потом один из них, приняв на ногу подкатившийся мяч, повёл его прямо к воротам мимо растерявшихся от неожиданного появления нового партнёра итальянских солдат и почти беспрепятственно с близкого расстояния пробил по воротам. Однако немецкий офицер гол не забил, итальянский вратарь оказался на месте и легко взял мяч. То ли этот факт не забитого гола, то ли желание поразмяться раззадорило немца, и он принял участие в общей игре. Итальянцы отнеслись к этому нормально. Второй офицер присел на деревянный столбик от сломанной скамейки и закурил.

– Теперь пиши пропало, – сокрушенно сказал Коля. – Конца этому не будет.

Это было похоже на правду.

С появлением нового партнёра игра приняла ещё более азартный характер, и никто из играющих на ребят не обращал внимания.

Тогда Алексей предложил такой план:

– Ты вот что, Юра, иди к стрельбищу, а мы, как только мяч залетит за ворота, отобьём его к тебе. Бери мяч и уходи за насыпь. А мы – кто куда.

С одной стороны стадиона, ограждая его от улицы, было расположено стрельбище воинской части, стоявшей до войны в старинных домах на Красной площади. Два высоких земляных вала, соединяясь вместе у городского парка, образовывали замкнутое ущелье. Сюда ушёл Юра. Ожидать ему пришлось недолго, кто-то из ребят пробил на него мяч. В полный рост с мячом под рукой Юра поднялся на верх насыпи. Итальянцы по-разному отреагировали на это: одни кричали, что он молодец и пусть уходит домой, а другие всё более распаляясь, требовали, чтобы он вернулся и отдал им мяч. Ребята кричали:

– Беги! Алексей, почуяв во всей этой суматохе что-то недоброе, крикнул:

– Бросай мячик, Юра! Ну их к чёрту!

Всё это сбило с толку Юру. И он, остановившись на гребне насыпи, с опаской смотрел на резко жестикующих и кричащих итальянцев, на своих товарищей и не понимал, что ему следует делать. Тогда Пьетро, намереваясь как-то уладить конфликтную ситуацию, что-то сказал своим приятелям и быстро побежал к Юре. Он хотел взять у него мяч и объяснить ему, что пусть ребята идут по домам и Юра пусть уходит, а он, как только солдаты закончат игру, принесёт мяч бабушке.

Пьетро взбежал вверх по насыпи, и когда он поравнялся с Юрой и был уже рядом с ним, неожиданно для всех раздался пистолетный выстрел. Немецкий офицер, тот, который не принимал участия в игре, достал из кобуры парабеллум и выстрелил. Ему показалось, что какой-то русский парень намеревается украсть футбольный мяч.

Пуля, предназначенная Юре, попала в спину Пьетро как раз против сердца. Пьетро упал под ноги Юре и, несколько раз перевернувшись, скатился по крутой насыпи в сторону стадиона. Итальянцы подбежали к нему, но он был уже мёртв. Немецкие офицеры, переговариваясь, быстро шли к воротам стадиона.

Пьетро похоронили на Панском кладбище. Итальянские солдаты строгим траурным строем проводили своего товарища к месту погребения. Под винтовочный салют комендантского взвода рядовой 8-й итальянской армии навеки остался лежать в русской земле.

В Новозыбкове прошли слухи о том, что на стадионе во время игры в футбол немецкий офицер случайно застрелил итальянского солдата. Подробностей этого происшествия никто не знал, говорили разное. Алексей, Юра и все, кто был с ними на стадионе, договорились никому ничего не рассказывать о том, как погиб Пьетро.

– Мало ли что, – предположил Алексей, – в комендатуре начнут копать, зачем на стадион ходили, кто разрешил, почему мяч хотели унести? Не забирали бы мяч, никто не стрелял бы. Словом так – никому ни слова. А какие пацаны были на стадионе, кому это известно? Пацанов в городе много.

Алексей говорил разумно, но его опасения оказались напрасными. Немецкая комендатура никаких мер к расследованию причин гибели итальянского солдата не предпринимала.

А вскоре, в начале лета, итальянские солдаты покинули Новозыбков. Их посадили в эшелон и увезли в сторону Гомеля.

Ксения Фёдоровна первое время, когда Пьетро перестал появляться в её доме, иногда вспоминала его. Когда он постоянно навещал её, она порой тяготилась его посещениями, а с прекращением его визитов Ксения Фёдоровна временами испытывала такое чувство, как будто ей чего-то не достаёт. Как-то она сказала Юре:

– Что-то Пьетро перестал к нам ходить. Ты его нигде не встречал?

Юра ничего не сказал бабушке. Ни сразу после того страшного случая на стадионе, ни потом, спустя долгое время, он не мог не то, что говорить, а даже думать о гибели Пьетро. Его душу томило сознание собственной причастности к этому, но главное было в том, что на основании своего небольшого жизненного опыта и своих представлений о жизни он никак не находил ни объяснения, ни оправдания тому, что на его глазах погиб ни в чём неповинный человек.

После того, как итальянцы уехали из Новозыбкова, Юра с Алексеем побывали на могиле Пьетро. Они оправили осевший бугорок и обложили его дёрном. И потом они много раз приходили сюда и проделывали эту простую и праведную работу.

В 1947-м году Юру с Алексеем призвали в армию. И только тогда, перед своим отъездом из Новозыбкова, Юра рассказал бабушке, как погиб хорошо знакомый ей итальянский солдат. Ксения Фёдоровна оцепенела от ужаса, когда представила себе, как Юра, открытый и беззащитный, стоял с мячом на земляной насыпи стрельбища, а в него целился из пистолета немецкий офицер и как упал убитый Пьетро.

Она записала в поминание за упокой убиенного воина раба божьего Петра и до самой своей смерти молилась за упокой души его так же, как молилась она за души сына, мужа и своих родителей.

Медсестра Тося

Новелла

Последнее время я все чаще и чаще думаю о том, как мне рассказать о своей давней встрече с молоденькой медсестрой из военного госпиталя, интересной и милой девушкой по имени Тося. Время нашего знакомства было очень коротким, но память о нём не отпускает меня до сего времени. Я был виноват перед Тосей в том, что пропустил мимо своей жизни и её сердечный порыв, и её нежность. И не то, что душа моя дремала – другие причины мешали мне.

А девушка нравилась мне.

Как часто случается с нами, что мы начинаем испытывать запоздалые сожаления по поводу того, что не сумели своевременно оценить добро и дружбу, сердечность и доверие, обращенные к нам и предложенные нам бескорыстным и хорошим человеком. Проходит время, и мы начинаем упрекать себя и даже раскаиваться в своей черствости, но это уже не меняет дела. Все уходит в прошлое, и остается только память и сознание своих ошибок.

...В декабре 1943-го года я вернулся домой в Новозыбков после того, как вышел из немецкого тыла, где в составе партизанского отряда участвовал в боевых действиях против немцев. В комендатуре только что освобождённого от немецкой оккупации города Речицы я сдал оружие и получил указание следовать в распоряжение военкомата по месту жительства в силу того, что я в то время не достиг еще призывного возраста.

Дома я встретил только маму и младшую сестру. Было много слёз и радости. Отец находился в командировке по служебным делам, старшие братья были на войне и от них не было никаких известий. Я встал на воинский учёт в райвоенкомате и начал привыкать к гражданской жизни.

Город выглядел уныло и скучно. Зима еще не полностью вступила в свои права, снегу было мало, и улицы с промёрзшими дорогами и стёжками без травы и снега смотрелись неприглядно. Дома, заборы, калитки и облетевшие деревья – все было одинаково серым и наводило на грустные размышления. Хотя следовало бы сказать, что военные пожары и бомбёжки особых следов не оставили в городе, разрушений от боевых действий при освобождении Новозыбкова также было немного. Грозным свидетельством того, что по городу прошла война, был подбитый танк. В самом начале Замишевской улицы, сразу же за каменным мостом, неподалёку от школы имени Калинина, стояла разбитая тридцатьчетверка; впереди танка, чуть-чуть припорошенная снегом, лежала разорванная гусеница, а боевая башня взрывом была отброшена к берегу озера под высокие старые ветлы. Потом, когда выпал снег, в объезд танка была проложена санная колея.

Я ходил по городу и чувствовал себя совершенно одиноким: моих товарищей и одноклассников – никого в городе не было. Многих угнали в Германию, а остальных забрали в армию после освобождения города.

Мы жили втроем с мамой и сестрой, ожидая возвращения отца из командировки и писем с войны от старших братьев.

Потом произошли необычные события.

Перед самым Новым годом, поздно вечером, вернулся домой отец. Мы сидели за столом, и к радости встречи примешивалась горечь наших воспоминаний. Около полуночи скрипнула калитка, и сразу же раздался нетерпеливый стук в коридорную дверь. Через несколько секунд на пороге стоял невероятно красивый юный офицер в длинной шинели, в ремнях и с погонами лейтенанта на плечах. Левой рукой он придерживал лямку вещмешка, а правой обнимал маму. Это был Федя, мой старший брат, бесценный друг моего детства и отроческих лет. Как же этот высокий стройный молодой человек был не похож на того паренька, которого в августе 1941-го года я далеко за город провожал и никак не мог расстаться с ним, когда он уходил вместе

с мужчинами нашего города вслед за отступающей Красной Армией перед сдачей Новозыбкова немцам. Тогда, в июле, на пыльной дороге среди несжатых хлебов я расстался с юношей, только-только вышедшим из отроческих лет, а теперь перед нами стоял молодой офицер Красной Армии.

Далеко за полночь горела керосиновая лампа в нашем доме. Мама по второму разу сходила к тетке Христине за самогоном, а мы все разговаривали и никак не могли наговориться. Моему старшему брату месяц назад исполнилось 20 лет, а между тем он уже около года носил офицерские погоны. Он участвовал в битве за Москву, потом воевал на Северо-Западном фронте, где в бою под Старой Руссой был ранен осколком немецкой мины в голову. Четыре месяца он лечился от этой раны, скитаясь по военным госпиталям. Судьба забросила его в сибирский город Анжеро-Судженск Кемеровской области, где он получил правильное лечение своей раны. Потом были трехмесячные курсы младших лейтенантов – и снова фронт. Дивизия, в которой он служил, освобождала Новозыбков от немцев.

И вот он дома. Проездом, всего на два-три дня, удалось ему договориться об этом коротком отпуске. Он дома и наша семья почти вся в сборе. Нет с нами только самого старшего брата Лёни, которого мы так никогда больше и не увидим.

Мы всё говорили и говорили с Федей. Отец и мать с сестрой ушли спать, а мы сидели в передней комнате и всё рассказывали друг другу о пережитом за минувшее время.

Появление в доме в один и тот же вечер отца и брата после двух с половиной лет разлуки и неизвестности само по себе было необыкновенно, а если учесть, что и я заявился домой совсем незадолго перед этим, то можно считать все эти приезды и возвращения исключительным случаем, словно кем-то специально запланированным, так это всё было удивительно.

Но на этом волнительные неожиданности этих дней не закончились.

В последний день пребывания в Новозыбкове Федя после посещения военкомата и продпункта вернулся домой не один. С ним была девушка. Они остановились у двери. Оба в военной форме, оба одинаково юные, свежие с мороза и такие красивые и милые, что у меня защемило сердце от промелькнувшей мысли о том, что в своей цветущей молодости и с радостным ощущением жизни оба они, по сути, принадлежат не жизни – они всецело принадлежат только войне.

Рослый лейтенант и невысокая девушка в шинели с сержантскими погонами, в сапожках и в солдатской шапке на темных волосах, так хорошо смотрелись вместе, что казалось, эта пара не случайно и не на короткое время обрела друг друга.

– Познакомьтесь, – сказал Федя. – Это моя хорошая знакомая – медсестра Тося.

– Здравствуйте, – чуть-чуть настороженно, но достаточно приветливо отозвалась мама. – Проходите, пожалуйста.

– А это мой брат, – указывая на меня, продолжил Федя. – Сейчас он нездоров, но чтобы к следующему моему приезду ты мне его непременно вылечила.

Я назвал свое имя. Девушка подала мне руку и, глядя мне прямо в лицо, бойко, с улыбкой сказала то, что принято говорить в таких случаях:

– Очень приятно, будем знакомы.

Она немного отставила назад одну ногу и изобразила что-то вроде галантного реверанса. Этот жест был только слегка обозначен, но в его мимолетности содержалась и плавность, и раскованность.

Я смутился. В эти дни я действительно разболелся. Начала беспокоить задетая осколком нога, к тому же сказывались холодные ночи, проведенные в конце ноября в болотистой пойме Березины под носом у немцев.

Мама принялась ставить самовар. Она, конечно, не понимала, какие отношения связывают Федю с молоденькой военной девушкой, но для нее много значило то, что эта девушка – медсестра. Вероятно, мама подумала, что она лечила ее раненого сына и ухаживала за ним

в госпитале. В этом случае Федя мог бы привести в дом весь персонал целого санбата и мама постаралась бы всех приветить, всем была бы рада и всех старалась бы чем-то угостить, чтобы выказать им свою благодарность за лечение сына.

Но Тося никогда не ухаживала за раненым Федей.

– Дело было так, – рассказал мне брат. – В начале октября я ехал с эшелонном битой артиллерии в направлении на Москву. Поезд прибыл на станцию Судимир, и там у нас была долгая стоянка. Рядом на путях ждал отправления встречный санитарный поезд с полевым госпиталем, перемещавшимся поближе к фронту. Там я и познакомился с красивенькой медсестричкой Тосей. Мы с ней понравились друг другу, – безапелляционно заявил брат. – Эшелоны наши стояли рядом. Мы ходили по путям, разговаривали и пели военные песни. В общем-то, пела она, а я только так, помогал маленько. Сама она из Горького. Хорошая девчонка, да встреча была короткой. Нашему эшелону открыли путь. Мы с Тосей обменялись полевыми почтами и простились. Правда, пока мы гуляли, она успела написать мне в книгу учета несколько песен. И всё. А сегодня смотрю на базаре – знакомая фигура, Тося! Вот я и привел её домой.

Брат уехал утром на другой день. А я окончательно слёг, поднялась температура. Я лежал в постели, пробовал читать, но болели глаза, и я откладывал книгу. Я вспоминал довоенную жизнь, школу, вспоминал своих друзей и товарищей: Мишу Торбика, Алексея Копылова, Колю Малеева, Ваню Масарова, Никиту Соколова, Павла и Кузьму Дороховых. Все они погибли на войне. Уцелел только один Миша Торбик, он был ранен и получил инвалидность.

Из воинской части, что располагалась в городской больнице, ко мне приходил врач – старший лейтенант, внимательная молодая женщина. Оставила какие-то лекарства, перевязала ногу.

А потом пришла Тося. Я не ждал её, не думал, что она серьёзно отнесётся к наказу брата лечить меня. Мало ли что люди могут сказать в обычном разговоре. Но Тося пришла. Она спросила, нет ли каких известий от Феди, сказала, что и она ничего от него не получала. Мама пригласила её пройти ко мне.

– Ну что, вояка, совсем разболелся? – спросила она, присаживаясь около моей кровати.

Она была в штатской одежде и выглядела моей ровесницей, хотя была на два года старше меня.

– Какой-нибудь врач приходил? – спросила она.

– Был врач, – ответила мама. – Военная женщина. Лекарство оставила и ногу перевязала.

Тося посмотрела порошки, потом обратилась ко мне:

– А что у тебя с ногой?

– Немножко ранило. Осколком.

– Давно?

– Два месяца, пожалуй, прошло.

– Давай я посмотрю, – решительно сказала Тося.

Она разбинтовала ногу и осмотрела её.

– Ну и что сказала военная женщина? – спросила Тося у мамы.

– Сказала, что краснота не очень понятно отчего взялась, а рана чистая. Сказала, что надо подождать.

– И ждать нечего, – Тося завязала ногу желтым от риванола бинтом. – Всё здесь уже ясно. Рана совершенно зарубцевалась, а на ноге обычный фурункул.

– Что это? – взволновалась мама.

– Да просто чирей. Правда, штука болезненная, но не опасная. Тося укрыла меня одеялом, села рядом и тихо, как-то очень хорошо спросила:

– Потерпишь?

– Ну что Вы, конечно, потерплю.

– А как тебя ранило? Где это было?

– Да не стоит об этом. У Вас, наверное, каждый день перевязки, раненые да увечные...
– Слушай, – остановила меня Тося, – что ты мне всё «вы» да «вы»? Это у нас в госпитале замполит, как только заметит какой-нибудь промах, так сразу же на «вы» переходит: «Вы, товарищ сержант, младший командир Красной Армии и должны пример подавать вольнонаёмному составу».

Очень смешно она изобразила госпитального замполита.

– Да вы настоящая артистка!

– Опять «вы»! Скажи «ты»!

Я сказал «ты».

– Скажи ещё раз.

– Ты, Тося, ты, – мне было приятно это произносить.

– Молодец. Теперь мы по-настоящему познакомились.

Я не помню, о чём мы разговаривали в ту первую нашу встречу.

Мне с трудом давалось «ты», я был стеснителен, может, потому, что мне нравилась Тося.

Перед тем как уйти, она положила мне на лоб руку, немножко прохладную и легкую.

– Да у тебя жар, – сказала она и немного наклонилась надо мной. Я близко увидел её глаза, и мне показалось, что выражали они не только участие, но и ещё что-то волнующее и беспокойное. Сам того не ожидая, я попросил:

– Не уходи, Тося.

Она улыбнулась:

– Мне на дежурство пора, а тебе надо поспать. Хочешь, я спою тебе колыбельную?

И она пропела очень тихо и очень проникновенно два-три куплета, никогда – ни ранее, ни потом – неслышанной мной колыбельной песенки. В ней было что-то о мальчике, у которого и мать, и отец оба лётчиками воюют на фронте. В памяти осталось несколько строк:

*...Мама твоя лётчиком на фронте,
Дома в няньках раненый отец.
Спи, мой милый сын,
Тикают часы,
Мячик закатился под кровать,
Через восемь дней
С мамой твоей
Будет папа вместе воевать.*

Кажется, Тося не до конца пропела мне эту необычную колыбельную – она действительно торопилась на дежурство.

После этой встречи Тося стала приходить ко мне по два-три раза в неделю. Я ожидал её и всегда был рад её посещениям. Она садилась у моей кровати, и мы много и хорошо разговаривали о школе, о довоенной жизни, о книгах, и я узнал из этих бесед, что она родом из Горького, что до войны она училась в девятом классе, но ушла из школы осенью сорокового года, когда вышел указ о плате за обучение в старших классах средней школы.

– Мы жили вдвоём с мамой, – рассказывала Тося. – Мама не смогла из своей маленькой зарплаты оплатить мою учёбу. Я устроилась работать в швейную артель. В начале войны мы с подругами пошли в военкомат, но в армию нас не взяли из-за того, что нам ещё не было восемнадцати лет. Нас направили на курсы медицинских сестёр и по окончании обучения призывали в армию. Хотела быть зенитчицей, а видишь, как вышло, – закончила свой рассказ Тося. Потом добавила:

– Вообще-то нас, военнообязанных, направляли в строевые части. В госпиталь я попала случайно.

Я спросил, нравится ли ей Горький.

– Других городов, кроме Горького, я не знаю, и мне кажется, что лучше города и быть не может. Правда, моя бабушка никогда не признавала иного названия нашего города, кроме как Нижний Новгород. Честно говоря, и мне старое название нравится больше. А вот что интересно. Когда я была на экскурсии в музее Максима Горького, в старом доме бабушки Каширина, то больше всего меня удивило, что и двор, и красильня, и сам дом – всё мне показалось очень тесным и зажатым. Экскурсовод рассказывал о пожаре, и я думала, как же дом не загорелся, если совсем рядом горела красильня! И потом, где же там бабушка Алёши ловила испуганного коня? Там, во дворе, и убегать коню некуда, и ловить его негде...

– А ты Максима Горького любишь? – спросила вдруг Тося.

Я сказал, что не очень.

Тося чаще приходила под вечер, и получалось так, что, когда начинало смеркаться и мама зажигала лампу в соседней комнате, мы оставались вдвоём с Тосей в полусвете, и тогда разговор наш становился особенно доверительным, и каждое сказанное нами слово приобретало большее значение, чем его истинный смысл. Между нами возникало необъяснимое чувство бережности и чуткого внимания друг к другу. Как-то я взял её за руку, она не отняла её, а только посмотрела на меня, и её большие остановившиеся на мне глаза стали ещё больше и выразительней. Однажды я попросил её спеть из новых песен, которые поют теперь в армии и вообще.

Тося не сразу отреагировала на мои слова, и я сказал:

– Мне брат рассказывал, как вы пели в Судимире на станции.

Она качнула головой, чуть усмехнулась, помедлила, потом вместе со стулом подвинулась ко мне и негромко, как будто только для одного меня, запела:

*Мы вдвоём в поздний час,
Входит в комнату молчание,
Сколько лет всё для нас
Длится первое свидание.*

Тихий голос её и проникновенные слова так тронули мою душу, что у меня жесткий ком подступил к горлу. Я точно почувствовал, что Тося тоже была взволнована, словно ей давно было необходимо сказать или пропеть какому-то единственному человеку слова этой пронзительно трогательной песни. Когда она закончила петь, мы оба долго молчали, а когда я хотел, было, заговорить, она остановила меня:

– Нет, больше я петь сегодня не буду. Ладно?

– Ты не поняла, я хотел сказать «спасибо».

– А что? Ты раньше не слышал этой песни?

– Нет, конечно.

В этот вечер мы расстались так, словно не ушли друг от друга. По крайней мере, такое чувство было у меня. Тося ушла в свой госпиталь, а мне казалось, что она со мной.

От простуды я довольно быстро избавился, вроде бы обошлось без воспаления лёгких. А вот фурункулёз меня замучил. И то ведь сказать, в течение почти полугода я не снимал сапоги иной раз по две-три недели кряду. Небольшая осколочная царапина чуть повыше голеностопного сустава левой ноги в своё время вынудила меня дней десять попрыгать на одной обутой ноге. Но это быстро прошло, и как только я смог надеть сапог на поврежденную ногу, так уже до самого возвращения домой почти не разувался. Всё это время я прожил под открытым небом, где уж там было разуваться, если учесть ещё и то, что и обстановка в те дни была довольно сложной.

Избавиться от фурункулёза мне помогла Тося. Она договорилась в своём госпитале, и со мной проделали такую манипуляцию: из вены на левой руке набрали полный шприц крови и её, эту же кровь, впрыснули мне в ягодицу. Никогда потом ни от кого я не слышал о подобном лечении фурункулёза, но как бы то ни было, а мерзкие фурункулы у меня прекратились.

Во время моей болезни был ещё один замечательный вечер. Тося много пела. У нас обоих тогда сложилось необыкновенно лёгкое доверительное настроение, лишённое всякой настороженности и, может быть, сдержанности. Как хорошо она пела! Негромко, отчего усиливалось восприятие, потому что негромко петь можно только для одного человека. Голос у неё был очень приятный, а музыкальность и проникновенность исполнения так пленительно и естественно совпадали с её обликом, что, казалось, будто и мелодия, и слова песен исходят от неё самой, а не созданы чьим-то талантом и воображением.

Мы были одни. Отец – на работе, Вера – в школе, а мама топила печь в соседней комнате.

Я был восхищён Тосей. Но, кроме этого, меня восхищало и то, что в нашем жёстко идеологизированном обществе оказалось возможным создание и распространение таких тонких, лирических и душевных песен, в которых отсутствовало пропагандистское решение воспитательных и режимных задач, так же, как не было в них и обязательного оптимизма, и легковесной бравады. Всё это для меня было неожиданным. До войны всё, что мы пели, имело характер казенного патриотизма, и все песни приобретали популярность только в массовом исполнении.

«Если завтра война...», «Тачанка», «Три танкиста», «Песня о Родине», «Марш энтузиастов» – что ни возьми, всё бодро, если не сказать лихо, всё весело, энергично и ...бездумно.

Тося пела совсем другие песни:

*Над речкой ива клонится,
Плывет луна-бессонница...*

*Ты ждёшь, Лизавета,
От друга приветта...*

*Люди надели шинели,
Так начиналась война...*

*Тихо в избешке дремлет старушка,
Ждёт не дожждётся сынка...*

*Не для меня придёт весна,
Не для меня Дон разольётся...*

И ещё что-то она пела, и было в её песнях столько хорошего и человеческого, что щемило сердце. И слова, и музыка этих песен были естественны и близки для любого человека в это недоброе время войны.

Для меня это было откровением, и, грешным делом, я подумал, что же такое произошло с нашей цензурой: в песнях нет ни слова о руководящей роли партии, о верности, о преданности, о победах и так далее, а эти песни поются и на фронте, и в тылу. Неужто великий вождь дозволил людям во время войны проявлять простые, человеческие чувства и воспевать их в поэзии и музыке?

В Речице, где я недолго пролежал в госпитале, мне посчастливилось посмотреть кинофильм «Два бойца». Песни Бернеса в этом фильме мне очень понравились и произвели на меня большое впечатление. Я сказал об этом Тосе, и она после недолгого молчания запела «Тёмную ночь». Я был очень взволнован, я не мог удержать слез, и хорошо, что в комнате не было света.

– Вот сколько я тебе песен пропела, совсем тебе голову заморочила, – с улыбкой проговорила Тося.

Она погладила меня по щеке и сразу же отняла руку.

– Что с тобой? – обеспокоенно спросила она и очень тихо шёпотом сказала. – Ты плачешь.

– Это я от счастья, Душа не справилась с красотой твоих песен.

– С какой красотой? – не поняла Тося.

– С твоей красотой и с твоими песнями, – сказал я, ощущая, как сильно стучит моё сердце.

Мама принесла лампу и предложила нам чаю. Ожидая отца и сестру, она поставила самовар, и он бойко и весело шумел на кухне. Тося поблагодарила и отказалась. Перед уходом она сказала мне: «Ты странный».

Когда я окончательно выздоровел, Тося стала реже приходиться ко мне. Утратив особое положение больного, которого по всем житейским правилам положено посещать друзьям и товарищам, я как бы лишился естественной причины для встреч с Тосей. Но и я, и, как кажется, она – оба мы хорошо понимали, что болезнь моя была только поводом для встреч, а причина для них существовала совсем в другом.

Я жил на положении допризывника и со дня на день ожидал повестки из военкомата, и чем ближе подходило это время, тем острее я чувствовал необходимость свидания с Тосей. Она, похоже, испытывала такое же состояние.

Однажды она пришла в военной форме, и показалось, что между нами обозначилось присутствие брата.

Тося уловила мое состояние, поняла моё замешательство.

– С Федей у меня ничего не было. Мы виделись с ним всего не больше часа, гуляли по путям, разговаривали. Потом обменялись адресами. Так бывает между людьми. Он хороший, твой брат, – сказала Тося.

Мы сидели на диване в передней комнате, которая на недолгое время моего пребывания в родном доме стала моим рабочим кабинетом. У меня была серьёзная обязанность, выполнение которой я не мог откладывать. Комиссар партизанской бригады имени Железняка Георгий Васильевич Злынов поручил мне вести журнал или что-то вроде истории партизанской жизни и боевых действий. И вот теперь по отрывочным запискам и по памяти я восстанавливал на бумаге всё, что происходило в нашей бригаде за время моего в ней пребывания.

– Что ты пишешь? – спросила Тося.

Я объяснил, и она с удивлением посмотрела на меня, а потом сказала:

– Да, я же всё собиралась попросить тебя почитать мне что-нибудь. Федя говорил, что ты пишешь стихи.

Я молчал, не зная, как реагировать на её просьбу.

– Если это почему-либо для тебя затруднительно, то можешь не читать, я не буду настаивать, – обиделась Тося.

Она сидела со мной рядом, стройненькая, в затянутой ремнём гимнастёрке с белым подворотничком, в юбочке защитного цвета и в сапогах. Самый красивый сержант Красной Армии.

– Ну что ты, Тося, конечно, я тебе почитаю, – поспешил я успокоить её. – Я просто думаю, что читать.

– Всё равно, – отозвалась Тося. – Давай о любви. У тебя должно быть такое.

– А ты споёшь мне потом?

– Конечно, если ты этого хочешь. Только сначала почитай стихи.

У меня не было стихов, посвящённых Тосе, но были стихи, обращённые к другой девушке. Индивидуальность этого обращения нельзя было не почувствовать. Девушка, о которой идёт речь, провожала меня во время оккупации в Германию, в неизвестность, может быть,

на смерть, но она не встретилась со мной, когда я вернулся живым в родной город. Я прочитал Тосе стихи, слова и чувства которых были посвящены другому человеку:

*Моя любовь, моё очарованье.
Мои мечты, где вы?
Вас больше нет...*

Тося, сосредоточенно глядя куда-то мимо меня, прослушала стихотворение до конца.
– Ещё, – тихо и настойчиво попросила она и посмотрела мне прямо в лицо.

И я прочитал ей одно за другим несколько лирических стихотворений: «Ты не сыпь, черемуха, цветами...», «Чистый садик, ровные дорожки...», «Часы бегут, ещё немного...», «Шепчутся старые клёны...», «Теперь осталось на прощанье...». Ещё что-то читал, теперь уже трудно вспомнить – что.

Во всё время чтения этих стихов Тося не отводила внимательного взгляда от моего лица. Она вдруг взяла обеими руками мою голову и поцеловала меня.

Это был второй поцелуй в моей жизни. Тося не могла знать, что я уже испытал мимолётное счастье первого поцелуя, которому не было повторения. Она подвинулась ко мне, обняла меня и положила голову мне на плечо. Её волосы закрыли мне лицо, а своим подбородком я касался её погона с тремя золотыми лычками. Так мы сидели какое-то время, и не было для меня большего счастья, чем то, что я испытывал в эти мгновения.

– Я была уверена, я просто чувствовала, что ты знаешь и можешь делать что-то такое, чего не знают и не умеют другие люди, – взволнованно сказала Тося, отстраняясь от меня и поправляя волосы. – Ты мне напиши эти стихи. Если бы я умела, я подобрала бы к ним музыку.

Она прошла по комнате, и было похоже, что какая-то девочка, играя, нарядилась в военную одежду и вроде бы забавляется этим, но и вместе с тем понимает, насколько ответственно всё то, к чему может обязать человека военная форма.

Тося подошла ко мне, села рядом со мной и негромко, но с глубокой душевной проникновенностью спела очень благородную и нежную песню:

*Ты, крылатая песня, слетай
С ветром буйным в родные края,
Ждёт ли парня, как прежде, узнай,
Дорогая подруга моя.*

Тося пела так, словно разговаривала со мной. Некоторые слова песни она произносила, поворачиваясь ко мне, и тогда её дыхание касалось моих губ. Песня звучала от сердца к сердцу, и была она откровением, объяснением и признанием в самых сокровенных чувствах. Преисполненные душевного единения и нежности и Тося, и я на короткое время забыли и о госпитале, и о призыве в армию, и о войне – мы были просто счастливыми людьми. Но это продолжалось недолго.

Вечером я проводил Тосю и мы расстались на перекрёстке Первомайской и Советской улиц, откуда до её госпиталя было недалеко.

А на другой день я получил повестку из военкомата и через три дня с командой моих сверстников покинул Новозыбков. Это уже было со мной в прошлом году, только тогда меня увозили на запад, а теперь – на восток. Я тепло простился со своими дорогими родителями и с сестрой. Маме оставил стихи для Тоси.

Больше мы с ней никогда не встретились. Она мне очень нравилась, и мне казалось, что я любил её. Но я также любил своего брата.

Однако переписка с Тосей у него не состоялась.

Ты только жди меня

Капитан Рюмин осенью 1943 года получил приказ выехать в краткосрочную командировку в Москву. Стрелковый полк, в штабе которого он служил, занимал оборону северо-западнее Гомеля. На фронте было затишье. На штабной машине капитан Рюмин доехал до Гомеля. Город стоял в развалинах, целые улицы представляли собой ряды обугленных кирпичных стен с пустыми оконными проёмами, сквозь которые светилось холодное серое небо. Железнодорожная связь с Москвой уже была налажена и Рюмину посчастливилось попасть на готовый к отправлению поезд. Ехали не по расписанию, иногда стояли на станциях, на разъездах, у светофоров. На перегоне между Клинцами и Унечей попали под бомбежку. Немец бросил несколько бомб, не принеся ни вреда ни дороге, ни поезду. Состав даже не замедлял хода. Долго стояли в Брянске.

Выполнение командировочного задания в Москве, против ожидания, заняло немного времени. Оставалось выполнить поручение командира полка подполковника Сорокина – зайти к его сестре и передать письмо и посылку, после чего можно было возвращаться в часть. При всей своей простоте поручение подполковника беспокоило Рюмина. Дело в том, что у Наташи, сестры Сорокина, год назад погиб на фронте муж и она осталась одна с четырёхлетним сыном. Рюмину казалось, что он не сумеет выполнить перед незнакомой женщиной навязанную ему роль утешителя. Надо будет с постным лицом произносить какие-то слова сочувствия, думал он, и успокаивать женщину. Как это делается, капитан не знал.

На улице Горького он купил в коммерческом магазине кое-каких гостинцев, а потом с присущей ему оперативностью быстро разыскал на улице Огарёва указанный в адресе дом. Дверь ему открыла совсем ещё молодая женщина в тёмном платье и внимательно, словно вспоминая что-то, посмотрела в лицо капитана. Рюмин представился и сообщил хозяйке, что он имеет к ней поручение от подполковника Сергея Николаевича Сорокина.

– От Серёжи! – обрадовалась сестра подполковника. – Так что же Вы здесь стоите? Идёмте, идёмте же скорее сюда.

Она взяла капитана за руку и повела по коридору в свою комнату. Там около дивана на полу с какой-то игрушкой сидел маленький мальчик. Когда он увидел маму с незнакомым военным дядей, он встал и, не отходя от дивана, принялся рассматривать капитана.

– Папа, – тихо сказал мальчик.

– Нет, Серёженька, это не наш папа, – Наташа погрузилась и погладила мальчика по головке.

– Это твой дядя Серёжа прислал к нам в гости своего товарища.

Капитан снял шинель, передал Наташе письмо от брата и выложил из вещмешка на стол всё, что он привёз из части и купил в московском магазине. Доставая бутылку портвейна, он несколько замешкался, а потом решительным жестом выставил её на стол. Перед Серёжей опустился на корточки и вручил ему шоколадку и броневик, купленный им в магазине «Пионер». Мальчик держал в руках подарки и смотрел на капитана. Брови его хмурились, губы чуть-чуть улыбались, но, казалось, что он вот-вот заплачет. Капитан присел на стул и посадил ребёнка к себе на колени.

– Как много всего! – удивилась Наташа. – И всё это вы привезли с фронта?

– Не всё, – улыбнулся Рюмин. – С фронта только офицерские допайки и так, кое-что.

Наташа не поняла, что такое допайки, но спрашивать не стала и попросила рассказать о брате. Капитану было очень приятно сообщать ей хорошие новости о том, как живёт и воюет подполковник Сорокин, о том, что на его участке фронта уже порядочное время не проводятся боевые операции, и о том, что брат её жив, здоров и желает того же своей сестре и племяннику. Рюмин видел, с каким интересом слушала Наташа его слова, и он понимал, что в её внима-

тельности проявлялся интерес не только к тому, о чём он говорил, но и ещё что-то такое было в её чуткости, что давало повод капитану думать о себе, как о не совсем постороннем человеке в этом доме.

Когда Наташа собрала на стол и предложила Рюмину умыться с дороги и, когда он подставил руки под струю воды, она сама расстегнула манжеты на рукавах его гимнастёрки, подвернула их повыше. Рюмин подумал, что так она ухаживала за своим мужем.

Сколько раз потом вспоминал капитан Рюмин этот единственный вечер в Москве. Наташа сказала ему, что немного знает о нём из писем брата, знает, что он был ранен под Старой Руссой зимой прошлого года. Это тронуло капитана, но ему не хотелось говорить о себе.

– Как вы-то здесь живёте, Наташа? – спросил он.

– Да как живу? Как все, так и я. В сорок первом было страшно. Москву часто бомбили, и мы с Серёжей уходили ночевать в подвал большого дома на Горьковской улице. У меня постоянно наготове была сумка с документами и самым необходимым. А ещё раньше меня хотели отправить на рытьё противотанкового рва куда-то за Волоколамск. Я объяснила, что у меня маленький ребёнок и нет никаких родственников в Москве, но меня плохо слушали. С Серёжей на руках я и явилась на сборный пункт. Конечно, меня отпустили.

За разговором на керогазе поспела картошка. Наташа взглянула на бутылку портвейна – три семёрки – и, чуть улыбнувшись, поставила на стол бокалы. Они сели к столу, и Серёжа тут же забрался на колени к капитану. Наташа, было, запротестовала, но Рюмин попросил:

– Пусть он будет со мной. Позвольте нам не расставаться. Наташа повернулась к Рюмину и посмотрела ему в лицо.

– Я хотел сказать, пока не расставаться, – успокоил её капитан, разливая вино. – За что будем пить?

– Предложите сами, у вас это лучше получится, – ответила Наташа.

– Ну что ж! Выпьём за здоровье, за то, чтобы все были живы и здоровы. Как, Серёжа, будем живы и здоровы?

– Будем, – сказал Серёжа перемазанными шоколадом губами.

Наташа внимательно с подступающими к глазам слезами смотрела на них. Ни один мужчина после гибели мужа не привлекал её внимания. Она работала учительницей младших классов неподалёку от дома. Преподаватель математики, демобилизованный по ранению старший лейтенант, одинокий мужчина, как-то говорил ей, вроде бы шутя, но с однозначным смыслом, мол, вы живой человек и я живой человек, почему бы нам не проявить внимание и чуткость друг к другу.

Одиночество нелегко давалось Наташе, но она не хотела мужского внимания. Просто не думала об этом. Что же происходит сейчас? Почему этот молодой офицер, товарищ её брата, так тревожит её душу? Она видела, как доверчиво её мальчик обнимает капитана за шею и что-то говорит ему или спрашивает у него, трогает пальчиками орден Красной Звезды. Как красиво они смотрятся вместе. Ребёнок, погоны, португезя, кобура на поясе... Мелькнула мысль о Серёжином отце. Ведь это он мог сейчас сидеть со своим сыном на коленях.

– Не хватает детям мужского общества, – проговорила Наташа.

– А женщинам? – улыбаясь, спросил капитан. Наташа без улыбки взглянула на него и пошла на кухню за чайником.

Поздно вечером, когда Серёжу уложили спать, Наташа и капитан Рюмин рядом сидели на диване и разговаривали. Настольная лампа была прикрыта плотной салфеткой, и комнатный полумрак придавал их беседе исповедальную доверительность.

– Жалко, что вы завтра уезжаете, – сказала Наташа. – Я бы вам Москву показала.

– Если б вы только знали, как я не хочу уезжать, – отозвался капитан. – Если б я только мог, то никогда и никуда не уехал бы от вас.

– Ну что вы такое говорите, – вздохнула Наташа.

– Что чувствую, о том и говорю. По рассказам вашего брата я представлял себе, какая вы. Но оказалось, что вы лучше, чем я мог себе представить. Завтра я уеду. Знаете, как это бывает. Тронется поезд, привычно застучат колёса вагона, рядом будет суетиться всякий народ, о чём-то разговаривать, а я буду молчать и думать о вас.

– Я тоже буду думать о вас, – тихо-тихо сказала Наташа. Капитан повернулся и взял её за руку, но она сдержала его порыв.

– Серёжа писал, что у вас совершенно никого нет, – дрогнувший голос Наташи выдал её волнение.

– Я детдомовский. Вы обратили внимание на мою фамилию? Это директор у нас в детдоме был такой остряк. Фамилию декабриста Бестужева-Рюмина он поделил надвое. Один бесфамильный, такой же, как я, пацан стал Бестужевым, а я – Рюминым. Об этом я как-нибудь расскажу вам. Но это потом. А сейчас у меня праздник, и я хочу говорить только о вас.

Капитан поцеловал руку Наташе.

– Я хочу говорить о том, как вы мне нравитесь, как хорошо, что встретил вас, как хорошо, что я сейчас с вами. Вы знаете, Наташа, что в полевых сумках офицеров на фронте часто хранятся стихи Константина Симонова и статьи Эренбурга. Симонов благородно и проникновенно пишет о любви. Я хотел бы думать о вас словами его стихов.

– Но ведь война. Идёт такая страшная война.

– Я же и говорю вам всё это потому, что мужчина на войне достойней и уверенней держится, если в душе у него есть надежда, если он знает, что не одинок на этом свете. Если у него есть о ком думать и кого любить.

Рюмин налил в бокалы вина, и они выпили вино за утраченную надежду на любовь и счастье. Женские руки легли на полевые погоны капитана, а он бережно обнял женщину. В кровати заворочался ребёнок, и они замерли, прислушиваясь и глядя в глаза друг другу. Но ребёнок затих.

– Я люблю вас, Наташа, – сказал капитан Рюмин.

Они не расстались до утра. А на рассвете, когда закончился в Москве комендантский час, Рюмин ушёл. Прощаясь с Наташей, он назвал её своей женой, поцеловал её слёзы и сказал:

– Я не погибну на войне. Теперь это невозможно, когда у меня есть ты и Серёжа. Я вернусь. Ты только жди меня.

Фронтвики

Лаврук

Ко времени моего знакомства с этим человеком контора «Аэропроект» стала проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом «Аэропроект». Я часто слышал, что в институте в одном из технических отделов работает инженер-проектировщик без рук. Это было совершенно невероятно, как это можно работать проектировщиком без рук? Чертить-то надо.

– А он чертит, – сказал мне мой хороший приятель Сергей Валентинов, ветеран «Аэропроекта». – Чертит. У него оторваны кисти рук, а культы расщеплены, и он приспособился.

Мне очень хотелось повидать этого человека, но работали мы в разных отделах и по производственным вопросам не пересекались. Нельзя же, в самом деле, заявиться в помещение, где он работал, и заявить ему: «Здравствуйте, я хочу посмотреть, как вы работаете». Однажды в коридоре мне показали на прошедшего мимо мужчину. «Вот он – Лаврук», – сказали мне. Крупный, плотного сложения мужчина в накинута на плечи пиджаке, не спеша, удалялся по коридору. Держался он прямо, и походка была у него несуетливой, как у человека вполне уверенного себе.

Следующая встреча с Лавруком оказалась для меня более содержательной. В «Аэропроекте» был организован шахматный турнир, в котором я принимал участие. Так вышло, что Лаврук сидел за соседним столом. Против него играл неприветливый сметчик, который то и дело забывал нажимать на кнопку часов, и Лаврук ему напоминал об этом:

– Я мог бы за тебя нажимать твою кнопку, так у меня рук нет. Я посматривал на него. Противник мне достался не очень опасный, и у меня была возможность несколько отвлечься от своей игры. Лаврук в накинута на плечи пиджаке, под которым были укрыты его «руки», не меняя позы и не вставая с места, играл спокойно и уверенно. Удивительно было, как он брал шахматные фигуры. Я хорошо рассмотрел его «руки», вернее то, что осталось у него от нормальных человеческих рук. У него не было обеих кистей, оторванных или ампутированных, сантиметров на шесть-семь выше запястья. На оставшихся обрубках хирург разделил лучевую и локтевую кости так, что вместо гениального творения Бога или природы, вместо прекрасных человеческих ладоней с пятью пальцами Лаврук получил две крупных клешни. Они-то и стали для Лаврука способом продолжения своей жизни. Но мало того, что Лаврук приспособился просто жить, он сумел сохранить за собой право на инженерную должность и исполнял ее так, что ни нареканий по своему адресу, ни снисходительного отношения к себе не допускал.

Мне очень интересно было смотреть, как он играет в шахматы. Когда наступала очередь его хода, он, оценивая шахматную ситуацию, некоторое время смотрел на доску, затем из-под пиджака появлялась его «рука» с завернутым по локоть рукавом рубашки, и он своей клешней точным движением брал необходимую фигуру и аккуратно перемещал ее в намеченное место. При этом он никогда не касался других фигур своей ужасной клешнеобразной вилкой. Он нажимал на кнопку часов, и рука его пряталась под пиджак.

Лаврук был крупным, несколько грузным, мужчиной. Его большая голова со светлыми волосами и короткой шеей плотно размещалась на широких плечах. Лицо его, несколько поврежденное мелкими осколками, было безбровым и просторным, с немного пухлыми щеками, что придавало ему несколько бабье выражение.

Он выиграл свою партию и постоял около моего стола, наблюдая окончание моей партии.

– В конце ты хорошо играл, – сказал он мне. – А вот вначале суетился. Вот зачем ты делаешь ход пешкой h2 – h3? Что это дает? Защищаешь клетку g4, а зачем? Не хочешь, чтобы противник сюда слоном пошел? Пусть идет. Это пустой ход.

Мы поговорили о шахматах, а потом были у нас случаи, когда мы с ним сыграли несколько партий. Я привык к его ужасной клешне, а сначала мне было не по себе, когда она появлялась из-под пиджака над шахматной доской. Сам он к своему увечью относился спокойно и даже безразлично. Он умел быть независимым человеком при своих ограниченных возможностях. На работе он сам расстегивал и сдавал в гардероб пальто, сам ходил в архив отбирать необходимые для работы материалы, сам точил карандаши и даже что-то чертил. Вероятно, эскизы. Он работал в группе, разрабатывающей проект централизованного обеспечения самолетов горюче-смазочными материалами в аэропортах гражданской авиации. Начальником у него был интеллигентный и добрейший человек по фамилии Чернов-Пигарев. Они очень хорошо ладили друг с другом.

Лаврук никому не был в тягость. Его доброжелательность, спокойствие, естественность поведения привели к тому, что сотрудники как-то перестали учитывать его физическую неполноценность и обращались с ним, как с таким же, как и они, обычным человеком. А ведь это было далеко не так. Всё, что нормальным человеком проделывается просто механически, для Лаврука представляло в иных случаях непреодолимые трудности. Какое же множество всяческих бытовых и иного рода условий необходимых для жизнеобеспечения следовало приспособить для увечного человека. Брюки у Лаврука были на подтяжках и на молнии, обувь тоже застегивалась на молнии. По институту он всегда ходил в накинутом на плечи пиджаке, чтобы не демонстрировать свои обрубленные руки. Пальто он надевал, как и полагается, в рукава, и они как-то безвольно болтались пустые снизу около карманов. Достать что-нибудь из кармана Лаврук не мог. Простая вещь – носовой платок, а как Лаврук пользовался им, я ни разу не видел. Что говорить, сложностей и больших и малых в бытовой жизни безрукого человека было множество. Но Лаврук был спокоен и жил в диапазоне, отпущенных ему возможностей достойно и без жалоб. Однажды он мне рассказал:

– На вечере в день Советской Армии в институте немного выпил. А выпиваю я совсем редко и только дома. В метро, чувствую, развезло меня, но свою остановку я не проехал. Вышел из вагона вроде ничего, а в подземном переходе меня закачало. Там трое парней стояло. Я подошел к ним и говорю: «В кармане у меня вот здесь три рубля, возьмите их. У меня нет рук. Выпил на празднике малость. Доведите меня до подъезда дома напротив». Довели, деньги взяли.

Я ни разу не видел на пиджаке Лаврука ни наградных колодок, ни цветных нашивок, свидетельствующих о боевых ранениях. Конечно, мне очень хотелось узнать, как его покалечило, как он потерял руки, но в первое время нашего знакомства я не решался об этом заговаривать. А потом, когда наши отношения приняли характер некоей доверительности, я попросил его рассказать, если он сочтет возможным про свою неудачу на войне. Он ухмыльнулся и по-доброму сказал: «Дать тебе главу для книги?».

Он сказал «гваву», потому что картавил на букву «л». Я ответил, что не обязательно для книги, а чисто по-человечески интересно.

– Раненых и покалеченных людей после войны по домам много вернулось. А вот такого человека, как вы, я первый раз вижу.

– Видишь, какая история, – ответил мне Лаврук. – Это как посмотреть. Ты говоришь, «неудача», а я тебе скажу: мой случай – это не то что удачное разрешение сложившейся ситуации, а это просто чудо, что я жив остался. Вот так оно бывает. Как-нибудь я тебе расскажу.

Мы редко встречались. Я не приставал к нему со своей просьбой, а сам он не возвращался к нашему разговору. Мало ли, по какой причине. А потом вышел указ о разрешении инвалидам

Великой Отечественной войны выходить на пенсию в 55 лет. С тех пор я потерял из виду моего доброго приятеля Лаврука, инженера-проектировщика, без обеих рук.

Витя Боркович

Когда я пришел работать в проектно-изыскательский институт, Витя Боркович к этому времени уволился из этого учреждения. Некоторое время память о нем сохранялась в институтском фольклоре и в кулуарах знавшие его сотрудники говорили о нем, кто с осуждением, кто с порицанием, но во всех случаях с сочувствием.

Виктора демобилизовали из армии, а точнее сказать, списали «по чистой», как говорили в то время, поздней осенью 1945-го года. Двадцати трех лет от роду он стал инвалидом Великой Отечественной войны. Домой он пришел на двух костылях и с одной ногой. Другую ногу выше колена он оставил в бою за нерусский город Данциг.

Весной 1945-го года Второй Белорусский фронт под командованием маршала Рокоссовского в тяжелых боях сокрушал Восточно-Померанцевскую группировку фашистов. Разгром немецкого сопротивления завершился победоносным штурмом Данцига. Маршал Рокоссовский 31 марта 1945 года был награжден орденом «Победа» «за искусное руководство крупными боевыми операциями».

А сержант Виктор Боркович почти в то же время подорвался на немецкой противопехотной мине.

Праздник Победы Витя отметил на госпитальной койке. Сколько бессонных ночей одолевали его горькие размышления о своем увечье, о своей неполноценности. Хирург утешал его:

– Привыкнешь. Получишь протез, у тебя хорошая культя.

– Я бы эту хорошую культю, не глядя, сменял бы на какую-нибудь самую плохую ногу, – горько шутил Витя.

– Жив остался, благодари Бога, – строго урезонивал Витю хирург. – Бывает куда, как хуже.

То, что бывает хуже, Витя хорошо знал. И в санитарных поездах, и в госпиталях он видел множество покалеченных войной людей, покорно и терпеливо переносивших свои несчастья. Это в какой-то степени примиряло Виктора с его положением, и он с горечью осознавал, что ему придется теперь учиться жить одноногим человеком.

После госпиталя он вернулся к матери в маленькую комнату коммунальной квартиры. Мать встретила возвращение покалеченного сына так, словно только таким он и должен был вернуться с войны. Радость ее была без малейшего оттенка горечи. Она была счастлива – сын вернулся с войны. Это главное. А то, что он калека, это она наедине с собой, ночами переплакала, в одиночестве, в котором она давно уже научилась жить.

До войны Виктор начал учиться в топографическом техникуме. Но поскольку в 1939-м году арестовали его отца, техникум со второго курса пришлось оставить. Мать как жену врага народа уволили из школы, где она работала преподавателем истории. Витя начал искать работу. Один дальний родственник матери помог ему устроиться в один из проектных московских институтов. Его взяли на должность десятника в отдел геодезических изысканий. Осенью, за год до войны, его призвали в армию. А потом началась война.

После госпиталя Виктор больше года стучал костылями по московскому асфальту. Ему пришлось недолгое время полежать на госпитальной койке, после чего он вместо костылей начал осваивать протез. В проектный институт, где он работал до войны, Виктор пришел с одной палкой. Больше ему некуда было идти. Его приняли на работу, но не в отдел изысканий, а в архитектурно-строительный отдел на должность чертежника. Какой же геодезист из одноногого человека? Пусть, решили в отделе кадров, привыкает к настоящей работе, если будет

стараться, может и получится из него нормальный проектировщик. В крайнем случае, можно будет перевести его в копировальное бюро.

Первое время Витя с охотой принялся за новую работу. Но его ненадолго хватило. Что-то чертил по заданным эскизам, старался понять, пытался понять, что к чему в строительных чертежах. Но его усердия ненадолго хватило.

Послевоенные годы были очень тяжелыми для жизни народа. Вождь не пожалел людей, не дал передохнуть после великой Победы. Начались «великие стройки коммунизма». Правительство призывало изнуренный народ после ратных подвигов к подвигам трудового энтузиазма при карточной системе снабжения и общей жизненной скудости. Буханка черного хлеба на рынке стоила сто рублей. Зарплаты матери и Виктора с его инвалидной пенсией катастрофически не хватало даже на питание.

У Виктора не хватило оптимизма и комсомольской резвости для активного участия в борьбе за переходящее Красное знамя или за победу в соцсоревновании. По-видимому, ему следовало бы поступить в какое-то заочное обучение и получать нормальную специальность, но он был не готов к этому. Его сверстники были уже дипломированными специалистами и занимали приличествующие возрасту должности, а он считал свое время упущенным.

Неподалеку от барака, в котором размещалась проектная контора, в большом кирпичном здании на первом этаже располагалось то самое заведение, что имело в послевоенное время множество названий: пивная, чайная, закусовая, пивнушка, забегаловка. Витя стал частым ее посетителем. В ней можно было принять «сто грамм с прицепом» и поговорить «за жизнь» с такими же, как и он, бывшими защитниками Отечества с поломанными судьбами и неприкажанными душами. Завелись друзья и соучастники. Витя никогда не приходил домой пьяным, но и совершенно трезвым он уже почти не бывал. Вероятно, понять это как-то еще можно было, но простить было нельзя.

Я знал в то время одного молодого человека, такого же, как и Витя, одноногого инвалида войны. После войны на костылях он пришел в Строгановский институт, где до войны закончил два курса, и продолжил образование. Через год он ходил на протезе с одной палочкой. Он получил диплом, начал работать, женился на хорошей девушке. Его звали Валерий. Наши жены работали в одном учреждении, и у нас сложилась та ситуация, которая называется «дружбой домами». Может быть, Валерий и имел какие-то комплексы, связанные с его увечьем, но внешне он был постоянно выдержан и спокоен. Помню, как они с женой были озадачены и очень переживали то, как воспримет их маленькая и пока еще несмышленная дочь увечье папы. Чтобы до времени не травмировать ребенка, они прятали от нее отстегиваемый на ночь протез. Как, в самом деле, объяснить маленькой девочке, почему папа свою ногу укладывает спать отдельно от себя под кроватью? Неудобств в этом было немало, жили-то в одной комнате.

Валерий, сколько я знал его, всегда был доброжелательным и корректным человеком. Виктор тоже был не обозленным, никого не винил в своем увечьем, но ни к учебе, ни к работе у него не было ни пристрастия, ни интереса. Ему сочувствовали, его укоряли, донимали советами, он никому не возражал, но поступал по-своему.

Бедная мать Виктора жалела сына, уговаривала его, просила не пить. Она очень боялась за него. Невозможно себе представить, как она сводила концы с концами при таком поведении сына! Была она еще не старой женщиной и довольно привлекательной. Когда забрали ее мужа и уволили ее с работы, она устроилась посудомойкой в рабочую столовую. От мужа пришло всего два письма из какого-то Воркутинского лагеря. Потом письма перестали приходить, и на ее запрос ответили, что ее муж скончался от воспаления легких. В сорок третьем году ее взяли на прежнюю работу в школу, так как не хватало учителей. Время от времени со своими учениками она организовывала выступление художественной самодеятельности в военном госпитале. Там она познакомилась с выздоравливающим офицером Николаем Семеновичем. Сам он был из подмосковного города Рогачева. У них сложились хорошие доверительные отношения. После

госпиталя Николай Семенович попал в свою часть. Переписка между ними оборвалась перед самой Победой. «Не судьба», – решила мать Вити. Но через два месяца после возвращения домой ее покалеченного сына, перед самым Новым годом Николай Семенович заявился к ней. Когда она открыла дверь и увидела его, она едва не лишилась чувств. В офицерской шинели без погон, как прежде прямой и сдержанный, он стоял перед ней на одной ноге и с двумя костылями...

Она провела его в свою комнату, и он, не снимая шинели, сел у стола. Костыли положил на пол у стула. Мать Виктора опустила на колени перед его единственной ногой, прижалась лицом к шинели и горько заплакала.

– Ну что ты испугалась? – спросил Николай Семенович. – Ничего страшного, ноги нет ниже колена. Буду ходить на протезе...

Женщина поднялась с колен, села к столу и закрыла лицо руками. Николай Семенович снова принялся ее утешать, но она протянула к нему руку и тихо сказала:

– Два месяца назад из госпиталя вернулся мой сын. Тоже на двух костылях и с одной ногой.

Николай Семенович ничего не сказал. Он подумал, что четыре костыля для одной женщины и для такой маленькой комнаты, пожалуй, будет многовато. Он поднял с пола свои костыли, надел шапку и встал со стула.

– Не плачь, – проговорил он. – Не надо. Сейчас я уеду к родителям. Потом напишу тебе, и мы обо всем договоримся. А если я приеду, то уже без костылей.

Он шагнул к двери, она подошла к нему, обняла за плечи и снова заплакала. Сколько раз она жалела потом, что не остановила его, когда он уходил из квартиры. Сколько она ругала себя за это. Но это было потом, а в то время она не могла его принять. Четыре костыля в одной тесной комнате коммунальной квартиры! Как можно с этим жить! Ее души не хватило на это. Она каялась и казнила себя.

От него не пришло ни одного письма.

Со временем она успокоилась. Когда Виктор освоил протез и поступил на работу, она подумала, что не так уж все плохо в ее жизни. Она надеялась, что сын послушается ее советов, поступит учиться, получит профессию, женится... Ничего этого не произошло. Виктор все чаще и чаще приходил домой нетрезвый. К работе он совершенно утратил интерес, выполнял то, что поручали, и только.

В это время в отделе намечалась командировка в один из сибирских аэропортов, для обследования и обмеров подлежащих ремонту некоторых технических объектов. Поехали опытный пожилой архитектор по прозвищу Ник-Ник, хотя он был просто Николай Николаевич, и молодая женщина инженер-конструктор Зинаида Самсоновна. Третьим взяли с собой Виктора, поскольку он очень просился в эту поездку. Думали, может, это пойдет ему на пользу.

– Первое время Виктор был для нас замечательным помощником, – рассказывала Зинаида Самсоновна. – Представьте, надо лезть на крышу двухэтажного дома. Кому? Ник-Ник грузный, тяжелый, да и возраст у него солидный. А я – женщина, мне по крышам лазать вроде бы и не пристало. Без Виктора было бы трудно. Я ему говорю, что через слуховое окно надо выбираться на кровлю. А он по пожарной лестнице на любую кровлю забирался. Отстегнет протез и – вверх. По кровле перемещался на коленках, уклон хоть и небольшой, но надо же было там зарисовать детали кровли, водоотводы, разбивку уклонов, обмерить все это и нанести на схему. Витька молодец, он быстрый и все хорошо делал.

Когда с обмерами и обследованиями закончили, нам с Ник-Ником предстояло заниматься множеством согласований в городских учреждениях. Мы уезжали в город, а Виктора оставляли в гостинице, чтобы он занимался вычерчиванием обмерных работ.

Зинаида Самсоновна рассказывала, что несколько дней Виктор исправно трудился, а потом сошелся с местными забулдыгами, и ко времени возвращения из города ее с Николаем

Николаевичем он пребывал в неменяемом состоянии. Тогда Николай Николаевич, мужчина серьезный и решительный, по утрам отбирал у Виктора ногу и относил её к хозяйственникам гостиницы в подсобное помещение. Сердобольные гостиничные женщины с пониманием относились к такому обороту дела. Виктор не обижался, чувствуя себя виноватым. Но целый день в номере он не сидел. При помощи табуретки прыгал по гостиничным коридорам и, как там у него получалось, но традиционных «сто пятьдесят с прицепом» он себе добывал.

Через недолгое время после командировки Виктор уволился из института.

– Куда пойдешь? – спросил у него начальник отдела.

– Кореш один обещал на рынке устроить вроде бы экспедитором, – неуверенно ответил Виктор.

Мать выхлопотала ему инвалидную коляску – самое скверное приспособление из всех мыслимых технических средств передвижения человека по земле. Виктора часто видели на Тишинском рынке, говорили, что он общается с какими-то подозрительными гражданами. Сошелся с какой-то женщиной, рыночной торговкой.

Женщина была старше его и такая же, как и он, выпивоха. Летом его видели на пляже в Серебряном бору.

А потом прошел слух, что он утонул, купаясь нетрезвым в Москве-реке. После Победы он прожил всего только восемь лет.

Письма из 1944 года

(с комментариями)

28 октября 1944 года

«Вчера получил от родных письмо. И как я был изумлен, когда в конце письма прочитал адрес. И кого же?! Нет... Я вот сейчас пишу письмо на имя Мосягина Евгения. Не может быть!.. Как?! А вчера... Полчаса смотрел на адрес в конце письма и не верил глазам своим: Германия и Мичуринск. Эти два названия у меня в мозгу устроили пляску Святого Витта. Может быть, родители ошиблись? Да нет же. Все по правде.

Здравствуй, Женя! Привет тебе из Казани от Торбина Михаила. Все-таки не понимаю, как ты вместо Германии оказался в Мичуринске?

О себе: сейчас лежу на койке в госпитале и пишу это письмо. Жив, хотя и не очень здоров. Лечение кончается. На днях могут выписать. На этот мой адрес ты пока не пиши. Как буду иметь другой адрес, напишу тебе, и ты мне ответишь.

Не могу писать, кружится голова, черт знает что – не разберу... почему ты в Мичуринске?

Твой друг Михаил Т.»

[Просмотрено Военной цензурой 13840]

Я мог бы выразить свое удивление по поводу получения этого письма с не меньшим эмоциональным напряжением и с таким же количеством восклицательных знаков, сколько имеется их в письме моего друга Михаила Торбина. Чего-чего, а уж этого письма я ожидать никак не мог. Последний раз мы виделись с Михаилом в августе 1943-го года в оккупированном немецко-фашистскими захватчиками Новозыбкове. Это был скорбный день, вместе с группой молодежи нашего города меня угоняли в Германию. Два товарных вагона в середине воинского немецкого эшелона заполнили молодым новозыбковским народом и повезли на запад. С того

дня прошло не так уж много времени, но сколько перемен в наших судьбах сотворила для нас война!

Конечно, Германия и Мичуринск в условиях войны понятия несовместимые, но такого бурного эмоционального всплеска, который Миша выразил в своем письме, я не мог ожидать. Человек он скромного поведения, очень сдержанный и закрытый. Но дело, пожалуй, здесь вот в чем: у меня, кроме Миши, было еще два хороших друга, а Миша дружил только со мной. Так уж сложилась у него жизнь.

Германия и Мичуринск?.. Да все очень просто. За Днепром, в Белоруссии, я бежал из немецкого эшелона. Попал к партизанам. Воевал. Когда партизанский отряд соединился с действующей Красной Армией, меня, как не достигшего призывного возраста, отправили в распоряжение райвоенкомата по месту жительства. Два месяца я прожил дома, а в начале марта 1944-го года меня призвали в армию и направили на учебу в Отдельный полк, который стоял под Мичуринском.

Письмо от Михаила было для меня очень дорогой неожиданностью. Крошечный листик бумаги, исписанный карандашом и сохранивший линии изломов, по которым он складывался в треугольник, превращаясь в почтовое отправление, имевшее в годы войны хождение по всей России и по всем фронтам. Для меня же этот треугольник был письмом из военного госпиталя от моего друга, раненого солдата.

20 ноября 1944 года

«Здравствуй, дорогой друг Женя!

Я все еще в Казанском госпитале, и твое первое письмо попало ко мне в руки. Я ему был бесконечно рад. Я лежал на кровати, когда его ко мне принесли. Прочел две-три строчки и дальше читать не мог. Я смеялся и подпрыгивал на кровати от радости и от волнения. Теперь мне все о тебе известно. А как твой брат Федя? Где он? Наверно нет никаких известий.

Теперь немного о себе:

25 сентября 1943 года в Новозыбков вошла Красная Армия.

28 сентября меня мобилизовали.

1 октября зачислили в роту ПТР одного из противотанковых дивизионов в качестве бронебойщика.

1 – 22 октября меня обучали на курсах бронебойщиков в одной из деревень в 60 километрах от Новозыбкова и в 20 километрах, не доезжая Ветки на реке Сож.

22 октября – на фронт. Ветка.

28 октября переходим Сож у Ветки и на другом берегу занимаем позиции. Ну а дальше пошли бои и переходы.

18 ноября ранен где-то между Гомелем и Речицей.

30 ноября снова фронт в своей части.

13 января 1944 года меня перевели в пехотный полк. Я – ручной пулеметчик.

18 января 1944 года ранен осколками мины в обе ягодицы. Госпиталь в Буде-Кошелевой, потом в Новозыбкове, где пролежал один день. Приходили родные.

31 января – 6 февраля санитарный поезд.

6 февраля – 23 марта лечился в госпитале в городе Егорьевске Московской области.

1 апреля прибыл в новую часть под Витебск в дивизион бронебойщиков. Через два дня перевели в Смоленск, где несколько дней был курсантом-артиллеристом. И – на фронт.

6 апреля снова был ранен пулей в скулу. Попал в санбат.

16–27 апреля госпиталь в Смоленске.

27 апреля – 4 мая санитарный поезд.

*4 мая – 2 ноября лечился в госпитале в Казани.
2 ноября 1944 года выписан из госпиталя и нахожусь в хозяйственной команде. Жду
комиссии. Пока числюсь нестроевиком по ранению.
Крепко жму руку. Твой друг Михаил»*

[Просмотрено Военной цензурой 12461]

Хронология фронтовой жизни моего друга не требует никаких комментариев кроме двух первых пунктов.

Действительно, город наш был освобожден от немецко-фашистской оккупации 25 сентября 1943 года. Накануне советская авиация жестоко бомбила город, немцы сопротивления не оказывали, к тому же в основном их в городе уже не было. В результате бомбежки было уничтожено некое количество частных домов, что позже было списано на счет немецких оккупантов. О боевых действиях при вступлении нашей армии в город мне ничего не известно, и никаких документальных сведений об этом я не встречал. Имелось в городе одно единственное, но весьма убедительное свидетельство огневого контакта с врагом: в начале Замишевской улицы, около озера стоял разбитый танк Т-34. Его башня, сорванная взрывом, лежала на берегу озера у самой воды. О том, как это произошло, сколько и кого только я ни расспрашивал, никто ничего вразумительного не мог мне ответить.

Михаил живой свидетель того, как немцы ушли из нашего города и как в город вошла наша армия, тоже ничего не знал о происшествии с танком.

Второй пункт фронтовой хронологии Михаила требует кое-каких дополнений.

«26 сентября 1943 года меня мобилизовали».

В этот день одновременно с Михаилом в Новозыбкове мобилизовали всех мужчин до 1925-го года рождения включительно. Я мало что знаю о многих призванных тогда в армию моих земляках, но с не уходящей из души печалью могу сказать, что в этот день призвали в армию всех моих товарищей и друзей: Алексея Копылова, Николая Малеева, Митю Гержедовича, Ваню Масарова, Никиту Соколова, Павла и Кузьму Дороховых. Все они были убиты в первые два-три месяца после призыва. У матерей их не просохли слезы проводов своих сыновней на войну, как они начали получать на них «похоронки». Никто из них не дожил до двадцати лет. Их пощадила немецкая оккупация, но не пощадила война. Их фамилии не значатся на мемориальных плитах, посвященных памяти павших за Родину солдат. Неизвестны могилы, где они похоронены, да и есть ли вообще где-нибудь эти могилы. А теперь, даже никого и не осталось на свете, чтобы их поминать.

Так вот и получилось, что изо всех моих друзей и товарищей, призванных в Красную Армию 25 сентября 1943 года, живым остался единственно один Михаил. О двух погибших моих друзьях я не могу не упомянуть в этом рассказе.

С Алексеем Копыловым мы вместе учились в школе. Познакомились мы во втором классе и до восьмого класса ни разу не поссорились. Когда в нашей стране школьное обучение стало платным, Алексей бросил школу и пошел работать. Он был на два года старше меня. Когда после партизанского отряда я жил дома в ожидании призыва в армию, зимой 1944-го года я навестил родителей Алексея. Его мать дала мне прочитать письмо сына. Обычное солдатское письмо, в котором Алексей сообщал, что прошел обучение на артиллериста, что он здоров и служба его началась нормально, дальше шли пожелания, приветы и прочее. Главное, что я запомнил на всю жизнь были последние слова из письма Алексея: «Недавно был бой и мы много стреляли из пушки. Потом весь расчет наградили. Не получил награду только я один. Сказали, что из-за оккупации. Но ничего, война не скоро кончится и я еще заработаю себе ордена». Когда я читал это письмо, Алексея уже не было в живых. Он был убит в декабре 1943 года. Мы с его матерью об этом еще не знали.

Коля Малеев был убит еще раньше – 12 ноября 1943 года, через полтора месяца после его призыва в армию. Мы подружились с ним во время оккупации. Он был спокойным, молчаливым, как будто постоянно что-то обдумывающим, не курил, не матерился, любил литературу, читал книги. Он, как и Алексей, был старше меня на два года. При получении письма от Михаила я уже знал о гибели Алексея и Николая.

22 ноября 1944 года

«Здравствуй, друг Женя!

Это письмо будет продолжением предыдущего. Сейчас вечер, пятый час, я сижу в подвале у кочегарки (водяное отопление госпиталя) и пишу это письмо. Сейчас работаю так: ночью смотрю за топкой и качаю воду электронасосом на чердак, поскольку городское водоснабжение не подает воду на верхние этажи. Утром убираю улицу перед госпиталем. Работа не тяжелая, снегопад пока небольшой. Ночью через каждые три часа заправляю топку и подкачиваю воду. Днем можно поспать.

В предыдущем письме я остановился на том, что 4 мая прибыл в Казань. До 2 июня лежал, лечили.

2 июня 1944 года с группой раненых направили в Марийскую АССР, на Волгу. Сначала работали в лесу, потом сбрасывали дрова в Волгу немного ниже плотины. Погода была жаркая, купался. Работали по возможности (мы еще раненые, не выписанные из госпиталя, поэтому требования к нам были заниженные), а кушали хорошо, госпитального пайка вполне хватало.

2 июля ездил в госпиталь на проверку.

14 июля командировка на Каму, на сенокос (50 километров от Казани). Косили сено, убирали в стога. Тоже было хорошо.

29 августа вернули в госпиталь на осмотр.

2 сентября направили туда же на сенопрессовку.

23 сентября – в госпиталь. Лечили.

6 октября послали грузить картофель на станцию Каратун (100 километров от Казани). Местный РВК¹³ самовольно устраивает нашей группе медкомиссию. Восемь человек и меня в том числе – в строй.

17 октября сажают в поезд и везут в Казань на формирование. Со станции я пошел в госпиталь, поскольку я еще не выписан из него. Сказали, правильно сделал. (Каратунский РВК просто выполнял план поставок.) И вот, как я сообщал в предыдущем письме, 2 ноября меня комиссовали. Годен к нестроевой службе. По требованию госпиталя РВК направил меня на работу сюда. Паек уже меньше и хуже. Ничего! Переживем. В клубе госпиталя через день бывает кино. На днях купил русско-немецкий словарь. Твой словарь прошел вместе со мной фронт и сейчас у меня. В него даже попал осколок. Захолодало, мороз, снег. Через месяц будет медкомиссия, возможно – в строй. И я буду в Германии – моя мечта!

Пока до свидания. Крепко жму руку. С дружеским приветом, Михаил Торбин»

[Просмотрено Военной цензурой 13910]

Аккуратность и пунктуальность постоянно были отличительными чертами характера Михаила. Его казанская жизнь пред ставлена им достаточно убедительно и подробно. Чего не скажешь о его фронтовой жизни: никаких подробностей, ни слова о его переживаниях и впечатлениях от фронтовой действительности, не говоря уже о мало-мальских сообщениях о

¹³ Районный военный комиссариат (райвоенкомат). – Прим. ред.

каких-нибудь боевых эпизодах. Таков Миша. Хотя нет, позже был случай в нашем разговоре при встрече, когда Михаил сказал мне о том, как его ранило: «Я бежал вперед и вдруг меня как будто бревном по голове ударило. Это пуля попала мне в левую скулу».

В конце письма он упоминает о немецком словаре. Михаил года за два до войны начал серьезно заниматься немецким языком. Успехи у него были значительные. Кстати, между вторым и третьим письмами Миша прислал мне открытку, написанную на немецком языке. Военная цензура пропустила ее, а я, конечно, прочитать ее не смог. Так она до сего времени и лежит у меня не прочитанная.

14 декабря 1944 года

«Здравствуй, Женя! Письмо твое получил сегодня. Главное, что меня в нем удивило, это сообщение о том, что Федя (Мой старший брат. – Е.М.) жив!!! Что он даже был дома. Это знаешь, просто, как в сказке.

На самом деле: тебя увозят в Германию, ты бежишь к партизанам (!) потом попадаешь домой(!), приезжает отец, и вот в час ночи стук в дверь, и появляется Федя (!!!). Я просто и не думал, что Федя жив. Ведь мы не имели от него вестей более двух лет. Это меня радует..... На почве, удобренной костями Алексея Копылова, Вани Масарова, Никиты Соколова и других наших знакомых, все-таки продолжается жизнь...

Вчера была комиссия в РВК. Опять – нестроевая. По-прежнему сижу в госпитальной кочегарке, и мне начинает казаться, что все это будет вечно, что этой проклятой войне не будет конца и что Гитлер, проклятый Гитлер, никогда не сдохнет.

Я потерял четыре года. И вместе с ними свою специальность, к которой себя готовил. Я бы уже работал педагогом, жил бы по-человечески. А теперь? Часто спрашивают то ли в штабе на фронте, то ли в тылу в военкомате: «Ваша специальность?».

И в анкете ставят: не имеет. А между тем другие люди отвечают: я тракторист, я бухгалтер, я токарь, я монтер. Всего этого я мог бы легко достигнуть. Хотя бы стать бухгалтером. А я решил получить высшее образование. Кто же знал, что начнется война!.. Мне уже 23 года, а я еще не жил я все еще сидел в монахах...

Видимо, у меня не все в порядке со здоровьем: левое ухо совсем не слышит, левая щека и левая половина рта утратили подвижность. Глаз левый в порядке, и веко моргает, но вот лицо наполовину окаменело. Однако, жить-то можно. Говорят, сиди пока в госпитале. Вот я и сижу в кочегарке. В столовой кормят очень плохо. Если бы не доставал на стороне картошки, пришлось бы туго. Стоят морозы до минус 30 градусов... Думаю – после войны закончу несколько месячные курсы на что-либо, начну работать и поступлю на заочное отделение института иностранных языков в Москве. Продолжаю заниматься английским языком.

Пока до свидания.

*С дружеским приветом, не забывающий тебя,
твой друг Михаил»*

[Просмотрено Военной цензурой 13896]

Четыре строки в этом письме наглухо зачеркнуты цензурой. Многоточия означают купюры, сделанные мной при переписке письма.

24 декабря 1944 года

«Дорогой Женя!

Я по-прежнему в казанском госпитале, кочегарю и временами несу караульную службу. Видимо, я стал закоренелым нестроевиком. В этом качестве буду встречать Новый год. Со здоровьем что-то неважно. Часто болит голова, почти каждый день. Наверно, от ранения. Вроде бы челюсть поставлена не так, была же так, да война перетакала. Физические недуги влияют на моральное состояние.

Близится разгром Германии. На фронт я, наверно, не попаду. А жаль – надеялся увидеть Европу. Могли и убить. Так это же происходит быстро, а мертвому ничего не надо, был – не был, видел – не видел, что знал, что чувствовал, – мертвому ничего не надо... и ничего не будет. Живу теперь надеждой на окончание войны и на возможность после этого получить специальность. Что будет на гражданке?

Вспоминаю: бывало, где бы я ни был, старался быть незаметным; стеснялся своей одежды, стеснялся самого себя. А сколько было желаний, мечтаний! Как же все пойдет теперь? Я избегал общества и не потому, что я не любил быть в компании, не любил веселиться, а потому, что положение мое угнетало меня и материальное, и физическое. Да ты и сам замечал много подобного в моем поведении.

Я вот подумал сейчас, что письма должны быть похожи на дневник или на автобиографию, чтобы письмо давало как можно больше сведений о фактической жизни и душевном состоянии того, кто пишет. Недавно я записался в центральную городскую библиотеку. Взял роман на немецком языке, перевозжу и читаю в своей кочегарке. Продолжаю заниматься английским языком. Днем изучаю английский, вечером – немецкий. С немецким проблем нет, а вот по английскому хорошо бы иметь небольшую помощь.

Поздравляю тебя, Женя, с Новым годом!

С дружеским приветом, твой друг Михаил»

[Просмотрено Военной цензурой 13896]

До войны Михаил Торбин жил в ужасающей бедности. В России тогда почти весь народ жил бедно, поэтому бедность семьи Торбиных не привлекала ничьего внимания. Мы подружались, когда я учился в шестом классе и мне было 13 лет, а Мише было уже 18 и он учился в девятом классе. Два школьных года он потерял из-за голода начала тридцатых годов. До войны он поступил учиться в Московский институт железнодорожного транспорта, но вышел указ о плате за обучение в старших классах средней школы и в высших учебных заведениях. Михаил ушел из института. В армию его не взяли по здоровью и он пошел работать скотником в пригородный совхоз.

Продолжить образование Михаил смог, как и следовало ожидать, после Победы летом 1945-го года, когда его демобилизовали из казанского госпиталя. В этом же году он поступил в Новозыбковский педагогический институт. Скучность материального существования вернулась к нему из довоенной жизни. Вот что он писал мне зимой 1946-го года: «Опять разбушевалась метель. Мне чертовски трудно. Шапку пока еще не купил и хожу в кепке. Сэкономленные от нескольких стипендий деньги ушли на приобретение шинели (купил на рынке), на починку сапог и на покупку нижнего белья. По карточкам дают только хлеб. Норма маленькая...».

В 1948-м году Михаил защитил диплом и, как преподаватель физики и математики, был направлен на работу в один из отдаленных и глухих районов Брянской области. Сначала расстраивался. Потом привык. Школа его увлекла. Он стал хорошим учителем, преподавал математику, физику, астрономию, вел уроки немецкого языка и преподавал какое-то «тракторное дело». Организовал кружки по физике и астрономии. После уроков школьники задерживались на его занятиях до того, что порой родители приходили в школу за своими детьми.

Инвалид Великой Отечественной войны Михаил стал заслуженным учителем России. В школе проработал пятьдесят лет.

26 декабря 2012 года

Штрафник

Война – это очень серьезное и опасное для жизни мероприятие. Во все времена, особенно в тоталитарных государствах, жестокость войны усугублялась жестокостью правителей этих государств. Во всех случаях война – это узаконенное преступление, а армия – это инструмент войны. Человек на войне не принадлежит себе, он даже не статическая единица, он просто элемент постоянно и бессчетно расходуемого материала войны. Солдат на войне никто не жалел. За всю Великую Отечественную войну ни на одном из заседаний ГКО¹⁴ не обсуждался вопрос перерасхода человеческих резервов. Людей в России много, зачем их экономить? В сводках Совинформбюро за всю войну ни разу не было ни одного сообщения о потерях Красной Армии. Сообщалось о количестве убитых и взятых в плен фашистов, об уничтоженной в боях и захваченной исправной военной технике противника, но никогда в сводках Совинформбюро не было сообщений о наших человеческих потерях в боевых операциях, словно их и не было.

Мой родственник и сосед по месту жительства Павел Миронович Фадеев был, как я понимал в то время, простым советским человеком. Это означало, что у него была небольшая зарплата и жил он в постоянных недостатках, его семья плохо питалась, скромно одевалась и постоянно испытывала отсутствие самых необходимых для нормальной жизни вещей. При этом Павла Мироновича безуданно убеждали, что живет он в самой лучшей в мире стране, под солнцем сталинской конституции и под властью самого справедливого и заботливого правительствa. Как и все советские люди, Павел Миронович не возражал против этого. Жил себе как все живут и только. Его мирная жизнь закончилась в начале мая 1941-го года тихим теплым вечером. После ужина он взял лопату и направился в конец своего сада копать огород под картошку. Едва успел он дойти до последних яблонь, как со двора его окликнула жена:

– Паша, тебя из военкомата спрашивают!

К десяти часам следующего дня Павел Миронович пошел в военкомат. Он был лейтенантом запаса, и его мобилизовали в армию. От него до начала войны пришло всего два письма, а как только началась война писем от него больше не приходило.

Наш город был оккупирован немцами через два месяца после начала войны, а еще через два месяца, поздней осенью, Павел Миронович, изможденный и больной, заявился домой к жене. Одет он был в крестьянские отрепья. Его не было дома почти полгода. Как он воевал, что с ним случилось, как он, командир Красной Армии, оказался в глубоком немецком тылу вдали от линии фронта, я так никогда и не узнал. Война уже шла больше четырех месяцев, фронт отдалился на восток от нашего города километров на триста. Думать о том, чтобы дойти по занятой немцами территории до линии фронта было бессмысленным. Да и на что, кроме трибунала, мог рассчитывать Павел Миронович, если бы и вышел у своих. К тому же началась зима, злая зима сорок первого года. И лейтенант Красной Армии Павел Миронович Фадеев решил остаться дома. Но что это означало – остаться дома? Как же это было непросто. Предстояла встреча с полицией и с немецкой комендатурой города. Коммунистом Павел Миронович не был, но он был офицером Красной Армии, и к тому же он, видимо, бежал из лагеря военнопленных. Его могли расстрелять или в лучшем случае отправить в какой-нибудь концлагерь. Но как-то все обошлось. Павлу Мироновичу разрешили жить дома в семье. Он был хорошим каменщиком, печником, мог плотничать, и его направили на ремонтные стро-

¹⁴ Государственный комитет обороны (ГКО) – созданный на время Великой Отечественной войны чрезвычайный орган управления, обладавший всей полнотой военной, политической и хозяйственной власти в СССР. Действовал с 30 июня 1941 года по 4 сентября 1945 года. – Прим. ред.

ительные работы зданий, где располагалась немецкая комендатура. Так незаметно и тихо он дожидался освобождения города от немецкой оккупации. И вот тогда судьба поставила его перед необходимостью повторения «момента истины». «Странно и непостижимо играет нами судьба наша», как точно и выразительно утверждал классик. Первый раз Павел Миронович добровольно являлся к немецким военным властям за получением права на жизнь. А теперь ему предстояло также добровольно явиться к командованию Красной Армии для решения вопроса о дальнейшей своей жизни.

Что произошло с Павлом Мироновичем за четыре месяца от начала войны до его появления дома во время оккупации, я так никогда и не узнал. Но вот о том, что он был в немецком плену, мне было известно. В конце октября начинало убедительно холодать и Павел Миронович вместе с женой перебирали в сарае картошку и перетаскивали ее в подпол на кухню. Стена сарая выходила на наш двор, и я случайно подслушал их разговор.

– Ты знаешь, Таня, в первые же дни войны столько пленных было, – говорил Павел Миронович, – столько, что мне казалось, немцы просто сами не знали, куда нас девать и что с нами делать. Я ничего не понимал. Я думал, если бы каждый красноармеец, перед тем как попасть в плен, всего только по одному разу выстрелил из винтовки по немцам и бросил бы в них по одной гранате, то и плена никакого не было бы, и война была бы другая. Но никто не стрелял и никуда не бросал гранат. Что случилось с нашей армией? Я до сих пор ничего не понимаю. Армия не воевала, она сдавалась в плен или разбегалась по лесам.

Павел Миронович примолк, а потом сказал:

– Подсоби, Таня, мешок на спину поднять.

После этого он вышел из сарая с мешком картошки на спине и пошел в дом.

Я тогда подумал, что, скорее всего, Павел Миронович все время до возвращения домой промучился в немецком лагере для военнопленных.

На второй день после освобождения города от немцев Павла Мироновича под конвоем направили в военный трибунал. Все решалось быстро: бывший офицер Красной Армии попал в штрафной батальон искупать кровью вину перед Родиной. Павел Миронович смирился со своей судьбой и считал, что все в его жизни этим и закончится. Штрафбат он воспринял, как продолжение жизни в условиях отложенной казни. Но всё в этом жестоком приговоре имело некоторые варианты. Кроме смерти в экстремальных боевых контактах с фашистами, штрафники имели альтернативу – получить в бою рану и выжить. Первая пролитая кровь давала право на освобождение от наказания и восстановление во всех прежних правах. Павлу Мироновичу повезло. Немецкая пуля раздробила ему коленку правой ноги. Ногу ему сохранили. С неггибаемой ногой он вернулся к жене домой. Теперь уже законно и окончательно.

И пошла его жизнь в скудости и при ограниченных средствах существования, как это было и до войны. Работал он сначала в стройконторе, потом устроился ночным сторожем в городском парке. Очень часто он писал письма в какое-то учреждение в Москву, добиваясь восстановления своего воинского звания и перерасчета инвалидной пенсии по своей последней офицерской должности. Но Павлу Мироновичу отказывали в этом. Видимо было что-то такое в его военной биографии, что лишало его права на полную реабилитацию.

30 декабря 2012 года

Памятные дни войны

Майор Кудрявцев, остролов и умница, матерщинник и любимец солдат, среди прочих майоров Красной Армии был замечателен ещё и тем, что имел очень красивые густые усы и обладал абсолютной самостоятельностью в суждениях, поведении и в исполнении служебного долга. Самостоятельность майора не имела амбициозности, а, скорее, выражала хорошо обозначенное чувство собственного достоинства.

В нашем отдельном военно-строительном батальоне он исполнял должность заместителя командира по МТО (материально-техническому обеспечению). Он иронически относился и к своей должности, и к необходимости служебного контакта с некоторыми штабными работниками, слишком усердно, по его мнению, проявлявшими служебное рвение при достаточно высоких званиях на очень невысоких должностях. В первые послевоенные годы такая ситуация иногда складывалась в некоторых воинских частях.

Например, должность начальника штаба в нашем стройбате занимал подполковник Рудашкин, претенциозный и чрезмерно чванливый субъект. Какая уж там штабная работа в строительном батальоне, чтобы ею руководил такой высокий воинский чин, – старшему лейтенанту, от силы капитану в самый раз её исполнять. А тут – подполковник! Человеку делать нечего, вот он при своей казуистической натуре и занимается всякой чепухой. Вдруг объявил приказ о запрещении рядовому и сержантскому составу батальона носить фуражки.

В армии в соответствии с установленной формой одежды приняты два вида летних головных убора – фуражки и пилотки. Стройбатовцам выдавали пилотки. Но ведь можно понять желание молодых людей, хоть и солдат, выглядеть поавантажней вне строя. В строю, понятно, необходимо единообразие. Но при увольнении в город, да ещё в такой город, как Москва, хочется же человеку хотя бы чуть-чуть, в пределах солдатских возможностей, приодеться получше. Вот и добывали солдаты и сержанты разными способами форменные фуражки. Этим-то фуражкам начальник штаба и объявил войну. Грешным делом, по этому поводу я обмолвился пустяковым двусмыслием:

*Подполковник В. Рубашкин
Запретил носить фуражки.*

Майор Кудрявцев тут же не замедлил добавить окончание:

*И в суд чести не попал,
Об...ся и упал.*

Следует пояснить, что на недавно перед этим состоявшихся выборах суда офицерской чести нашего батальона не пользующийся авторитетом среди офицерского состава подполковник Рудашкин в суд не прошёл, хотя его кандидатуру выдвигал сам замполит. Как-то я сидел в парткабинете, просматривал подшивки газет, когда открылась дверь, и в комнату вошёл майор Кудрявцев.

– Где твой урядник? – спросил он, имея в виду замполита.

Я ответил, что не знаю. В то время я имел звание старшего сержанта и в батальоне исполнял несколько должностей: был завклубом, библиотекарем, почтальоном и художником-оформителем. Для майора Кудрявцева мой статус нижнего чина мало что значил, и между нами на доброй основе общего интереса к живописи установились доверительные отношения. Никаких художественных творений майора я не видел, но он мне рассказал, что работает над копией картины Васильева «Оттепель». Это само по себе говорило о многом, выбор для копирования

васильевской «Оттепели» – картины очень сложной по колориту и эмоциональному содержанию – мог быть сделан достаточно хорошо подготовленным художником и к тому же человеком, не чуждым тончайшим душевным настроениям.

Майор постоял у стола замполита, потом сел на табурет и принялся рассматривать недавний номер «Крокодила».

– Товарищ майор, – попросил я, – расскажите что-нибудь о войне. Что-то самое запомнившееся, какой-то особенный случай. Было ж такое у вас.

– А зачем тебе? – майор отложил «Крокодил» и встал с табурета.

– Да так, интересно.

Майор подошёл к стенке, поковырял ногтем какой-то бугорок штукатурки, помолчал.

– Да, – сказал он и повернулся ко мне. – Если уж рассказывать, так это про тот день, когда у нас к немцам знамя дивизии попало.

Майор картавил на букву «л», отчего речь его была как-то по-особенному благозвучна. Казалось, что такому самостоятельному и такому занятому майору обязательно надо картавить на букву «л» – для более полного его несходства с остальными майорами Советской Армии.

– Так вот, – начал майор. – Я был тогда помощником начальника оргпланового отдела штаба тыла дивизии, – майор усмехнулся. – Не то, что в этом задрипанном батальоне.

То, о чём рассказал майор, произошло в Чехословакии, недалеко от Моравской Остравы. Дивизия подтягивала свои тылы к новому месту расположения. Три машины взвода управления штаба с шифровальщиками, а главное, – с тремя знамёнами, в числе которых было гвардейское знамя дивизии, проскочили мимо контрольного пункта к немцам. Третья машина отстала от двух первых метров на 150–200. Офицер, сидевший в кабине рядом с шофёром, увидел перебежавших через дорогу вооружённых людей и понял, что это немцы. Он сообразил, что они выставляют заслон, чтобы отрезать проехавшие машины, очевидно, полагая, что за третьей машиной движется колонна. Шофёр сумел быстро развернуться и дал газ. Позади раздалась пулемётная стрельба и автоматные очереди. Эта третья обстрелянная немцами машина вернулась на КП как раз в то время, когда сюда же подъехали несколько машин с работниками штаба дивизии, в числе которых был и майор Кудрявцев. Начальник политотдела, оценив ситуацию, командование взял на себя.

Майору вручили автомат, запасной диск и две гранаты. Вместе с другими офицерами он забрался в кузов «студебеккера», и они быстро поехали по дороге в направлении не стихающей стрельбы. Майор успел заметить, как на обочине вблизи КП санитар перевязывал раненного в голову сержанта. В машине было двенадцать человек: полковники, подполковники и майоры – штабное командование дивизии. У всех были автоматы, и только командир отдельного истребительного дивизиона майор Сергеев держал в руках ручной пулемёт Дегтярёва. На полном ходу машина пронеслась под выстрелами немецкого заслона, и за поворотом дороги показались наши машины. Одна из них горела, другая была разворочена фаустпатроном. Заняв круговую оборону, комендантский взвод отбивался от немцев. «Студебеккер» затормозил, офицеры попрыгали на дорогу. Начальник политотдела приказал шофёру развернуться и ждать.

Полковники и майоры пошли в атаку. Автоматы и ручной пулемёт Сергеева шквалом из двенадцати стволов с тыла ударили по немцам. Атака была неожиданной и быстрой. Немцы отошли. У наших были большие потери, половина комендантского взвода была убита, остальные ранены. Эти люди вели смертный бой в буквальном значении этого понятия. В конце войны сдать гвардейские знамёна немцам означало только одно – смерть!

Начальник шифровального отдела капитан Иванов лежал на земле с перебитыми ногами и прижимал к себе сумку с уложенными в неё снятыми с древков полотнищами знамён. Эту сумку начальник политотдела надел на свои плечи. Всех живых забрали с собой. К машине отходили под сильным огнём немцев, разобравшихся в немногочисленности офицерского десанта. Отбивались гранатами, отстреливались. Огонь шёл на огонь. Упал мёртвым полков-

ник Егоров, начальник политотдела зажимал рукой голову, и кровь текла по его лицу. Многие офицеры были ранены, но до машины добрались все. Остались у немцев только погибшие солдаты комендантского взвода и полковник Егоров.

– Знамёна дивизии спасли. Полковники и майоры доказали, что воевать умеют не только по картам в своих штабных кабинетах, – закончил свой рассказ майор Кудрявцев.

... Через пару дней он зашёл ко мне в клуб и сказал:

– Вот ты у меня спрашивал о самом памятном, что у меня было за войну. То, что я тебе рассказал, это ещё куда ни шло! Я другой случай вспомнил, пожалуй, похуже всего, что было со мной. Страху натерпелся, чуть под расстрел не попал. В Карпатах было дело. Однажды ночью в штаб тыла дивизии прикатил член военного совета армии генерал Новиков. С ним было четыре машины. В штабе я был один. Я доложил генералу, что остался за начальника штаба тыла дивизии.

– Так, – отозвался на мой рапорт Новиков, – расположение частей тебе знакомо, майор?

А я только днём объехал все полки и хорошо знал, где они располагаются. Я показал генералу карту.

– Хорошо, – сказал генерал, – вези нас на передовые линии.

И я повёз их в полк подполковника Дружинина. Это было поближе других частей. Ночь была не очень тёмная. По лесной дороге мы быстро доехали до деревни, впереди которой занимал оборону 3-й стрелковый батальон дружининского полка. Выехали за околицу тихой деревни, и машины пошли по просёлку среди обширной поляны. Меня смущало, что и деревня, и поляна были совершенно безлюдны. Пусть и ночью, но присутствие воинского подразделения всегда чувствуется. Днём у одного из последних домов деревни, где располагался штаб батальона, стоял часовой, и навстречу попадались чем-нибудь занятые солдаты, связисты тянули провод, тархтела кухня с обедом, торопились к штабу и обратно посыльные... Теперь же всё было тихо и пусто.

Когда мы доехали до леска, за которым, по моим расчётам, находились окопы 3-го батальона, я попросил генерала остановить машины, а сам пошёл вперед. Я боялся, что мы заехали не туда. Через сотню метров наткнулся на пустые окопы. «Неужели отошли? – резануло сомнение. – Когда ж они успели, и почему не было об этом доклада?»

Но самое странное, о чём я подумал, это то, что мы находимся на нейтральной территории. Немедленно надо возвращаться, решил я, а то ещё, чего доброго, завезу генерала к немцам. Мы развернулись на поляне, не зажигая фар. Новиков крыл меня за незнание расположения своих передовых подразделений, а я думал о том, что же произошло, куда девался стрелковый батальон? Вскоре всё выяснилось. Встреченные нами солдаты, возвращавшиеся с передового дозора, объяснили, что штаб 3-го батальона располагается по другую сторону деревни неподалёку от дороги. В штабе нам доложили, что вечером по приказу командования батальон отошёл с занимаемых позиций, а поляна, на которой мы разворачивались, заминирована.

Новиков потребовал, чтобы я отвёз его в штаб дивизии.

– А ну, генерал, показывай, где у тебя стоит 3-й батальон 72-го полка, – потребовал он от командира дивизии. – А то меня вот этот голубчик сейчас на минное поле завёз и чуть к немцам не доставил.

Ну, думаю, будет штука, если нашему генералу известно, что батальон отошёл на новые позиции и у него на карте отмечено новое расположение батальона! Тогда мне крышка.

Но командир дивизии показывает прежнее место, где сегодня стоял батальон.

Пронесло!

– Сидите в штабах, ничего не знаете! Ваш батальон сменил позиции! Вот он где стоит теперь, – Новиков провёл карандашом жирную черту на карте. – А тебя, майор, спасло только то, что и командиру дивизии тоже неизвестно об отходе подразделения.

Майор Кудрявцев засунул руки в карманы диагоналевых галифе, посмотрел на меня, как бы соображая, чтобы ещё добавить к рассказанному, но ничего больше не добавил, а только спросил:

– Сам-то где воевал?

Я ответил.

– Ну, тогда тебе должно быть понятно, как оно иной раз получалось на войне.

И в слове «получалось» майор как-то очень красиво заменил две буквы «л» на совершенно не русское, но вполне воспринимаемое звучание.

Встреча на войне

Памяти моего старшего брата Фёдора Мосягина

Сержант Миша Бурнасов и ефрейтор Ольшанников вернулись в расположение артмастерской с огневых позиций 76-миллиметровых пушек. Ездили они на пароконной подводе. Сержант Бурнасов доложил о выполнении задания, потом сообщил:

- Мы вам, товарищ лейтенант, коня привели.
- То есть, как это, коня привели? Где вы его взяли? – строго спросил лейтенант.
- Артиллеристы подарили. Говорят, нам ни к чему, а вам пригодится.
- Интересно, – ухмыльнулся лейтенант. – Пошли посмотрим.

Неподалеку от землянки, под навесом, где были оборудованы ясли и коновязь для лошадей, стоял привязанный к распряженной телеге крупный гнедой конь. Грива и хвост у него были чёрные.

– Этого коня пушкарям отдал сам хозяин хутора, – рассказал лейтенанту Бурнасов. – Старый поляк сказал, что на зиму переберётся в город к родственникам. Хутор его немцы сожгли, и конь ему теперь ни к чему.

Лейтенант мало что понимал в лошадях, но год назад под Курском ему довелось недолгое время служить в должности командира взвода конной разведки. С тех пор само собой получалось так, что его считали настоящим кавалеристом. Оружейники в артмастерской все были мастерские люди, солидного возраста и к своему молодому начальнику относились с доброй снисходительностью.

– Слышь, Серёга, – обратился Бурнасов к Ольшанникову. – Я забыл, как коня зовут. Польский, что ли?

- Да нет, – отозвался Ольшанников. – Польского его зовут.

Лейтенант отвязал коня и, держа его в поводу, прошёл с ним до командирской землянки и обратно к навесу.

– А вы прокатитесь на нём, товарищ лейтенант, – предложил Бурнасов. – Мы вам его сейчас подседлаем. Серёга, давай седло.

Сержант с ефрейтором быстро и привычно оседлали коня, заменили на нём уздечку и взнуздали. Конь вёл себя спокойно. Из землянки, в которой была мастерская, вышли двое солдат и старшина.

- Далеко, товарищ лейтенант? – спросил старшина.
- Да нет. Коня вот опробую. Я скоро.
- Что сказать капитану, если придёт?
- Так и скажи. Минут через десять буду.

Лейтенант поставил ногу в стремя и легко сел в седло. Сильный конь с места взял размашистой рысью. На лесной дороге лейтенант пустил коня в галоп. Похоже было, что конь застоялся и охотно принял команду всадника. Через пару километров впереди на дороге показался просвет. Лейтенант придержал коня и на поляну выехал рысью. К своему удивлению, на поляне на противоположной её стороне у крайних деревьев подступающего к ней леса он увидел группу военных, стоявших слева от дороги. Похоже, что они что-то обсуждали. Поодаль от них под деревьями стояли машины, и там было много бойцов охраны и сопровождения. Лейтенант хотел развернуть коня и скрыться в лесу, но он увидел, как один из военных, сделав несколько шагов в направлении к нему, повелительно махал рукой, подавая знак приблизиться. Лейтенант спешил и с конём в поводу направился к военным. Среди них выделялся ростом и статью один, похожий на кого-то очень знакомого.

«Мать честная, да это же маршал Рокоссовский», – изумился лейтенант. Он оправил одной рукой гимнастёрку и, насколько мог, чётким строевым шагом, не выпуская поводья из руки и видя перед собой только командующего фронтом, подошёл к нему и, остановившись на положенном расстоянии, доложил:

– Товарищ маршал Советского Союза, лейтенант Мосягин, заместитель начальника арт-мастерской 14-го полка, по вашему приказанию прибыл.

– Вольно, лейтенант. Куда направляетесь?

– Этот конь только что попал в наше подразделение. Решил опробовать его под седлом.

– Как он показал себя?

– Спокойный, послушный...

– Это не верховая лошадь, – сказал маршал. – Как зовут?

– Польского зовут его.

– Не Польского, – поправил маршал, – а Польскéго. Давно воюете, товарищ лейтенант?

– С августа 1941-го года.

– А лет вам сколько?

– Двадцать, товарищ маршал.

– Где были ранены? – Рокоссовский указал глазами на жёлтую и красную полосы, пришитые к гимнастёрке лейтенанта выше ордена Красной Звезды.

– Тяжелое ранение получил под Старой Руссой, а лёгкое – под Москвой.

– Под Москвой, – оживился маршал. – Где же вы были под Москвой?

– 4 декабря 41-го года нас сняли прямо с передовой, где мы держали оборону на Истре, и марш-броском за одну ночь перевели в Химки. 5 декабря пошли в наступление. Направление было на Солнечногорск, Клин и дальше.

Маршал хорошо помнил те тяжёлые дни обороны Москвы. Оказывается, этот мальчишка-лейтенант воевал в его армии.

– Сами вы откуда родом? – поинтересовался Рокоссовский.

– Из города Новозыбкова.

– Вот как!

Маршал был удивлён. В 1943-м году в Новозыбкове недолгое время располагался штаб Центрального фронта, которым он командовал.

– Выходит, лейтенант, мы с вами однополчане. Москву обороняли вместе, и в родном вашем городе война свела наши пути. Ну что же! Берлин тоже будем брать вместе.

– Так точно, товарищ маршал Советского Союза.

– Вы свободны, товарищ лейтенант. Желаю вам воинской удачи.

Лейтенант Мосягин на всю жизнь запомнил эту встречу с великим полководцем своей Родины. Лейтенант дошёл до Берлина и воевал в Берлине, где получил несколько тяжёлых ранений. Но это было уже не под командованием Рокоссовского. Маршал Рокоссовский по приказу Верховного Главнокомандующего был назначен командовать 2-м Белорусским фронтом, а свой 1-й Белорусский фронт он передал маршалу Жукову, который брал Берлин.

День Победы

На день Победы погода выдалась теплая и солнечная. Трое мужчин собрались отмечать праздник, а поскольку время было раннее и магазины еще не открылись, им ничего не оставалось, как дымить сигаретами и коротать время в дружеской беседе. Место, где они расположились, было укромное. Когда-то здесь начиналась какая-то стройка. Походили геодезисты с теодолитом, сделали осевую разметку, потом появились строители, выкопали котлован, завезли несколько десятков фундаментных бетонных блоков и поставили несколько бытовок. Потом все приостановилось. Бытовки увезли, а фундаментные блоки остались. Они-то как раз и создавали некое подобие случайного уюта для достойных граждан, имеющих желание в тихом месте приобщиться к покою и тишине при небольшом подпитии и при полном взаимопонимании своих сотоварищей. Местные алконавты, конечно, тоже не обходили своим вниманием этот пустырь, но не о них речь сегодня, хотя они тоже в какой-то мере достойны внимания.

Многие годы пустырь не привлекал внимания никаких властей и имущих персон и учреждений. Края котлована осыпались и заросли сорной травой, забор, поставленный со стороны переулка, покосился, и вдоль него замечательно разрослась густая и высокая трава. Кое-где на прилегающей к котловану территории начал прорастать кустарник. Высокие тополя укрывали пустырь от окошек соседней пятиэтажки. Словом лучшего места для мужской компании во всей округе нельзя было сыскать. И выпить, и закусить, и поговорить, а при случае даже и вздремнуть на бетонных блоках здесь можно было, как дома и даже лучше, чем дома, поскольку независимость и покой всякому, кто хотел этого, здесь был обеспечен.

Из трех собравшихся отмечать праздник мужчин только один был участником Великой Отечественной войны. Иван Тимофеевич Мухин, коренной москвич, от болотистых лесов Северо-Западного фронта дошел до Варшавы, где в январе 1945-го года был ранен, а после госпиталя участвовал в освобождении Праги. Иногда по-приятельски его называли Командиром, хотя никогда и никем он не командовал, как призвали его в армию в 1942-м году рядовым бойцом, так рядовым и демобилизовался он в 1948-м году. А то, что он не погиб на войне, так это простая случайность, потому что она для того и война, чтобы убивать на фронте таких солдат, каким был он – безотказных и безответных. Его товарищи были помоложе, хотя один из них был уже пенсионером, полный высокий очень спокойный человек по прозвищу Семёныч. А третьим был Чекист. Почему – Чекист, никто не знал, да и не задумывался над этим. Все его так называли, хотя всем было известно, что никогда ни в каких карательных органах он не служил. Но Чекист привык к тому, что он – Чекист и ничего обидного для себя в этом прозвании не находил.

– И когда только эта самая... «Натали» откроется, – поглядывая на часы, проговорил Чекист, сопровождая свою речь нюансами особого рода.

– Слушай, – обратился к нему Семёныч, – не ругался бы ты матом.

– А чем же мне ругаться? – огрызнулся Чекист.

– Да ничем не ругайся. Это что, обязательно надо?

– Ну а как же! Для связки.

– Ох и привязная эта штука, матерщина, – заметил Иван Тимофеевич. – У нас помкомзвода был, такой маленький парнишка, у него еще медаль «За отвагу» была. Так вот он ефрейтору Сычковскому иной раз отдавал такое приказание, в котором все до одного слова были только матерные. И что вы думаете? Сычковский всегда выполнял приказание в точности, как надо, хотя сам никогда не ругался.

– А чему удивляться? – ухмыльнулся Чекист. – Слова сами к языку липнут.

– Дурное дело нехитрое, – Семёныч осуждающе посмотрел на Чекиста. – Однако, парень, давай-ка займись делом.

Чекист отправился в магазин. Через короткое время на газете, расстеленной на бетонном блоке, мужчины нарезали хлеб, колбасу, разлили по стаканам водку. Все казалось привычным, многократно повторяющимся до мелких мелочей отработанным действием, принявшим характер российского ритуала, выраженным короткой и точной формулой – «на троих». Этот элемент социально-общественного поведения русских мужчин сложился и вошел в быт в послевоенные годы. Бедность и неустроенность жизни были тому причиной. «На троих» – вот и теперь само собой получилось, что мужчины разлили водку на троих. Вроде бы все, как всегда, но сегодня случай был особый.

Семёныч взял свой стакан и предложил выпить за Победу.

– За тебя, Ваня и за всех таких, как ты, что воевали и живыми домой пришли.

Все выпили. Иван Тимофеевич и Семёныч принялись закусывать, а Чекист закурил сигарету. Какое-то время он молчал, а потом вдруг спросил:

– Слышь, Командир, это правда, что вам на фронте по сто граммов каждый день давали?

– Бывало, да не всегда, – уклончиво ответил Иван Тимофеевич.

– Что ж, выходит, врут про это? – разливая по стаканам водку, придирчиво спросил Чекист.

– Ну, почему врут. Всякое бывало. Водочное довольствие, если говорить по правде, далеко не всегда обеспечивалось.

– Значит, водку налево толкали, дело ясное, – Чекист выпил и по-прежнему, не закусывая, продолжал дымить сигаретой.

– Ты бы поел, – предложил ему Семёныч.

Чекист оставил эти слова без внимания и снова обратился к Ивану Тимофеевичу:

– Вот ты всю войну прошел, много, чего повидал, – многозначительно проговорил Чекист. – А можешь ты мне сказать вот так напрямки, хороший был Сталин или плохой?

Иван Тимофеевич пожал плечами и что-то собирался ответить Чекисту, но его опередил Семёныч. Он сказал, что Сталин был вождем всей страны, а на фронте командовали военные специалисты.

– Тогда скажи, Иван Тимофеевич, – не успокоился захмелевший Чекист. – Кто на войне был самым главным? Жуков или еще кто?

Иван Тимофеевич закурил сигарету, подумал малость, потом спросил:

– Ты помнишь, в прошлом году отмечали пятьдесят лет Победы?

– А как же, – ответил Чекист. – Сначала вот здесь выпили. Бема был, Санян, Семёныч был, тебя не было. Побазарили здесь за Победу, ну и все такое, потом Семёныч домой пошел, а мы в парк двинули, под зонтиком там на троих посидели...

– Ладно, ладно, вижу, что помнишь, только я о другом хочу напомнить. Семёныч, наверно, не забыл, что в прошлом году и по радио, и по телевидению, и в газетах вся Москва на празднике Победы трубила только про одного Жукова: Жуков под Москвой, Жуков в Ленинграде, в Сталинграде, на Курской дуге, Жуков в Белоруссии, в Прибалтике, на Украине, в Крыму, – всюду один только Жуков.

Один Жуков – и никого больше. За все праздничное время не было названо ни одного из других маршалов и ни одного из командующих фронтами. Ни разу не упомянули ни Рокоссовского, ни Василевского, ни Мерецкова, ни Конева, не говоря уже о Толбухине, Говорове, Баграмяне, Ватутине, Черняховском и многих других военачальниках. Все пятидесятилетие Победы отдали одному Жукову. Я не говорю об умалении заслуг Жукова, но я просто не понимаю, почему для возвеличивания одного человека надо не то, что принижать заслуги других, а даже память о них зачеркнуть.

– Точно, – подтвердил Семёныч. – Дудели во все трубы про одного Жукова. Я на войне не был, но могу сказать, что не мог один человек такой громадной войной командовать. Сначала нам долбили, что Сталин войну выиграл, а в прошлом году Победу Жукову приписали.

Давай-ка, Чекист, заьем это дело, плесни помаленьку. А ты, Ваня, не переживай. Мы люди – маленькие.

Слова Ивана Тимофеевича о маршале Жукове пробудили активность Чекиста, и он с упорством захмелевшего человека принялся доказывать, что главней Жукова на войне никого не было, особенно он напирал на то, как здорово в кино показывают Жукова. Чекисту очень хотелось, чтобы все разделили его восхищение по этому поводу.

– Угомонись ты, парень. Ну, что ты базаришь? – прервал сбивчивые высказывания Чекиста Семёныч. – Я согласен с тобой, что артист Ульянов здорово играл Жукова в кино. Да, если ты хочешь знать, так я тебе скажу, что Ульянов в кино получился жуковистей самого Жукова. На то он и артист. А ты бы лучше закусывал.

– Послушай, Семёныч, а как ты думаешь, кому это надо было, чтобы обязательно один Жуков был победителем в войне? – спросил Иван Тимофеевич. – Может, в этом какая политика замешана?

– Может и не без того. Только нам-то с тобой что до этого? Я вот так думаю, Ваня, вот здесь осталось на доньшке, сейчас разделим, и слушай сюда: давай-ка помянем тех, кого ты называл. Может, все эти маршалы на том свете на нас не обидятся. Давай, Ваня, помянем их всех. Говорят, перед Богом все равны.

Иван Тимофеевич встал по стойке «смирно» и очень серьезно и почтительно назвал всех маршалов Великой Отечественной войны.

– Упокой, Господи, души их с миром во царствии твоём, – закончил свое поминание старый солдат.

Семёныч стал рядом с ним, и они вместе выпили за упокой высоких военачальников Великой войны. Чекист выпил, сидя, потом поставил на газету свой стакан, привалился спиной к бетонному блоку и склонил на плечо свою голову. Иван Тимофеевич и Семёныч пошли с пустыря в сторону переулка.

– Прихварывать начал последнее время, – пожаловался Иван Тимофеевич. – Был случай, жена «скорую» вызывала. Обошлось. Жена мне уж плакалась, ты, говорит, не помирай раньше меня, а то, что я без тебя буду делать. Говорит, что знакомая из соседнего дома похоронила мужа, так ей это обошлось в восемнадцать тысяч рублей. Где ж, говорит, я возьму такие деньги. Ты знаешь, Семёныч, я уж хотел письмо Ельцину писать, чтобы под Москвой где-нибудь сделали одну братскую могилу для участников войны. Как помрет какой ветеран, его на самосвал и туда. А шоферу на бутылку всегда найдется.

– Да брось ты, Иван Тимофеевич. Если что – скинемся, тебя ж тут все знают. Только ты не спеши. Помнишь, Высоцкий пел: «В гости к Богу не бывает опозданий».

28 ноября 2004 года

Привилегия

По Брюсову переулку мы подъехали к выезду на Тверскую улицу. Дальше ни проезда, ни прохода не было. У стоявшей поперек переулка грузовой машины без суеты и шума стояли люди, но милицейский пост, занимавший позицию между грузовиком и высокими чугунными воротами, никого не пропускал дальше.

Москва праздновала 60-летие Победы.

Как водится в этот день, с утра Юрий Петрович надел военную куртку с наградами, украшенную черными в алой окантовке артиллерийскими погонами с золотыми лычками старшего сержанта. Погоны эти сохранились у Юрия Петровича с 1945-го года. Чин небольшой, но только поэтому он и сохранил свои погоны. Были б они капитанские или даже майорские, он не стал бы их надевать. Ему нравилось быть «нижним чином». Такой уж был он человек. Что же касается хлопчатобумажной куртки цвета хаки, то она досталась ему от младшего сына, который был взят в армию прямо со студенческой скамьи Московского государственного университета имени Ломоносова. Сын прослужил немногим более года в авиационном полку на Дальнем Востоке, когда уважаемый товарищ Горбачев решил, что не стоит забирать в солдаты студентов. Сын вернулся домой и продолжил учебу в МГУ. Вот тогда Юрий Петрович и заметил на хлопчатой куртке сына голубые погоны рядового авиационного полка на свои, полувекковой давности, сержантские артиллерийские погоны. Имеющиеся у него награды он закрепил на куртке и всё получилось ладно и скромно. Один раз в году Юрий Петрович надевал этот наряд.

Как правило, гостей, кроме родственников, в день Победы Юрий Петрович с женой не ожидали. Так и получилось, часам к одиннадцати приехал с женой и маленькой дочкой младший сын, тот самый, чья солдатская куртка красовалась на плечах отца. Были цветы, поздравления, была застольица, были тосты за Победу, в память павших, во здравие живых, – словом все, как водится по традиции у нормальных людей в такой замечательный день.

– Хотели проехать в центр, пойти к Вечному огню, – сказала Катя, жена сына, – но в центр не пропускают, все подъезды и проходы перекрыты.

– Странно, – удивился Юрий Петрович. – В день Победы, сколько себя помню, всегда в центре города проводились народные гулянья.

– Все перекрыто, – подтвердил Антон. – Может, потому что вечером на Красной площади будет концерт?

– Все равно не понятно. Как же можно ломать традицию? – возразил Юрий Петрович. – Все годы после Победы ветераны встречались у Большого театра.

– Ветераны теперь толкуются в парке Горького, – заметил Антон.

– Я знаю. Но к Большому как при Советской власти, так и теперь ходят. К тому же – Вечный огонь, как не постоять у него.

– Послушай, отец, а может центр перекрыли из-за того погрома, что учинили бандюги в центре Москвы после футбольного проигрыша нашей команды в Токио? Опасаются беспорядков.

– Может быть. У этих подонков ничего святого нет. И все-таки жалко.

Юрий Петрович с трубкой вышел на балкон. К нему присоединились гости. День разгулялся, было тепло и посветлело небо.

– Вот что, – предложил Юрий Петрович. – Едем к Вечному огню!

– Едем! – сразу же поддержала его Катя.

– А кто ж машину поведет? – возразила жена Юрия Петровича. – Вы же с Антоном выпили.

– Катя поведет, – сказал Антон. Больше всех решению взрослых обрадовалась маленькая Даша.

Она не знала, что такое Вечный огонь, о котором говорили взрослые, и ей очень хотелось посмотреть на такой огонь.

Собрались быстро, взяли цветы и поехали. По Большой Никитской доехали до поворота и свернули в Брюсов переулок. Катя поставила машину рядом с двумя иномарками, вблизи группы людей, которых не пропускали на Тверскую улицу. Юрий Петрович вышел из машины. На него обратили внимание, и вдруг совершенно неожиданно случилось так, что один мужчина подошел к нему и вручил ему букет из пяти красных гвоздик. Поздравив Юрия Петровича с праздником, мужчина, не мешкая, отошел к стоявшей неподалеку женщине. Юрий Петрович сразу же оценил ситуацию: эти двое шли к Вечному огню, чтобы положить там цветы в память о ком-то из своих старших родственников, погибших в Великой Отечественной войне. Их не пропустили, как и всех других стоявших здесь людей. Юрий Петрович подошел к ним. Оба они были расстроены и огорчены.

– Я попробую пройти к Огню, – сказал Юрий Петрович. – Вы хотели кого-то помянуть?

– Вас пропустят, – сказал мужчина.

– Мы хотели помянуть наших дедушек, – объяснила женщина. – Леонида и Федора. Мы их не видели, они еще до нас погибли. Один в сорок третьем, другой в сорок пятом году. Но вот видите, как получилось. А мы-то из-под Москвы приехали, из Красной Пахры.

Эти двое добрых незнакомых людей как-то сразу стали очень понятными Юрию Петровичу в их печали и огорчении. Это как на войне, с двух-трех слов прозвучавших между двумя солдатами на марше или в окопе, люди становились товарищами. Юрий Петрович поблагодарил мужчину за поздравление с Победой, а женщине сказал, что он сделает все точно, как она пожелала.

Милицейский кордон пропустил Юрия Петровича со всей семьей на Тверскую улицу. Дашенька, пятилетнее сокровище, крепко держалась за руку бабушки.

Тверская улица была пустынна. Даже в глухую полночь она никогда не бывала такой настороженно безлюдной, как в этот праздничный день Победы. По обочинам тротуара с интервалом не более, чем в пять метров, стояли солдаты в армейской форме. По тротуару без прохожих Юрий Петрович с семьей направился к Манежной площади. Ни встречных, ни попутчиков у них не было. Подходя к Центральному телеграфу, Юрий Петрович заметил, что Газетный и Камергерский переулки были так же безлюдны, как и Тверская улица.

У Телеграфа на углу тротуар был перегорожен барьерами. Здесь располагался многочисленный милицейский пост. Милицейские люди с несвойственной им уважительностью дальше не пропустили жену Юрия Петровича, Катю и Антона. Постовые сказали им, что они могут подождать своего ветерана здесь. Дальше Юрий Петрович пошел с одной только Дашей. Мимо стоявших вдоль тротуара солдат, молча смотревших на них, мимо темных окон огромных зданий бабушка с внучкой медленно пошла к площади. Двадцать лет Юрий Петрович прожил в центре города на углу Воздвиженки и Моховой улиц, и много раз он ходил по Тверской улице в разное время года и суток и ни в каком сне не мог себе представить, что когда-то он пойдет по ней один с маленькой девочкой в солдатском оцеплении, через милицейские кордоны. Он вспомнил, как в 1943-м году вот так же как и сейчас, не спеша и очень спокойно он шел по бесконечным рельсовым путям железнодорожной станции в оккупированном немцами Жлобине. Тогда за спиной у него стоял немецкий эшелон, в котором его увозили в Германию, а у вагона двое немецких часовых, на время утративших бдительность. Он перешагивал рельсы и напряженно ждал или окрика, или выстрела в спину. Сейчас ситуация была совершенно иная, но в чем-то схожая своей исключительностью с тем, что осталось в далеком прошлом.

Около театра Ермоловой Юрию Петровичу повстречался очень пожилой мужчина в военном кителе с наградами и полковничьими погонами. С ним шли две женщины, тоже очень

пожилые. Поравнявшись с Юрием Петровичем, полковник козырнул ему, а Юрий Петрович смог ответить полковнику только поклоном: левая рука его была занята цветами, а правая принадлежала драгоценному человеку, крошечной девочке Даше. Она тоже несла цветы и в ее красивой головке, видимо, отмечалась необычность всего происходящего.

На углу Тверской улицы и Манежной площади у гостиницы «Националь» располагался очередной кордон. Здесь никаких проблем у дедушки с внучкой не возникло. Их пропустили. Правда у одного милиционера сработал служебный инстинкт «тащить и не пущать» и он сказал: «Идите, только там вас не пропустят». Там – это, видимо, на следующем посту. Теперь идти надо было влево, в сторону строящейся гостиницы «Москва», не доходя которой, располагался последний пост с металлоискателем. Манежная площадь была перегорожена барьерами, у которых несли службу милицейские патрули, и в обе стороны была безлюдна. Центр Москвы оцепинился сторожевыми и пропускными постами, патрулями, военной охраной, словно готовился к отражению неприятеля. И вместе с тем на последнем посту к Юрию Петровичу отнеслись довольно приветливо. Офицер отдал ему воинскую честь и предложил пройти через дугу металлоискателя. Рядом с этой дугой стоял столик и Юрий Петрович подумал, что будут записывать его фамилию, проверять документы, но ничего этого не случилось. Они с Дашей прошли через пустое пространство высокой дуги и по широкому участку площади направились к воротам Александровского сада. Девочка ничего не спрашивала, ее тепленькая ручка покоилась в руке дедушки, и ей было хорошо. А дедушка впервые за всю свою жизнь почувствовал себя ветераном Великой Отечественной войны, душа его была растрожена оказанным ему вниманием. Он понимал, что это возможно только в такой день, как сегодня, но все-таки, хотя на один день, но он удостоился быть отмеченным исключительным к себе отношением.

В конечном счете, в жизни все просто: он старый солдат, но с ним его внучка, и значит все на своих местах, и жизнь продолжается. На коротком пути к Александровскому саду дедушку с внучкой обогнала веселая компания молодых людей под водительством милицейского майора.

У Александровского сада держал оборону многочисленный милицейский отряд. Высокие чугунные ворота были приоткрыты настолько, чтобы в них пройти мог только один человек. Начальник поста козырнул Юрию Петровичу и приветливо пригласил:

– Вам – в первую очередь! Проходите, пожалуйста.

Дедушка с внучкой подошли к могиле Неизвестного солдата.

Здесь, присмирив, стояла молодежная компания, да два-три пожилых человека. Даша положила цветы, куда указал ей дедушка, и молча и серьезно смотрела на мечущиеся языки пламени в центре лежащей на граните звезды. Потом она посмотрела на двух, неподвижно застывших, часовых и снова стала смотреть на огонь. Подвижная, игривая девочка, видимо понимала, что здесь нельзя вертеться и разговаривать. Юрий Петрович сказал ей, чтобы она тихо постояла и подумала, а сам положил на гранит сначала пять гвоздик в память о погибших на войне двух русских мужчин: Леонида и Федора. Потом положил остальные цветы и мысленно помянул поименно всех погибших в боях за Родину своих братьев, друзей и товарищей. Он мог бы долго стоять у этого огня, но с ним была Даша, и, хотя она не проявляла нетерпения, он понимал, что не следует перегружать ее ни эмоциональными, ни физическими впечатлениями. Юрий Петрович взял Дашу за руку и тихо спросил:

– Пойдем, Даша?

– Пойдем, дедушка, – также тихо ответила девочка.

Когда вышли из Александровского сада, Даша высвободила свою ручку и побежала по площади. Маленькая, светленькая, красивая девочка резвилась на глазах заскучавших на своих бесполезных постах стражей порядка. Она подбежала к памятнику маршалу Жукову, и дедушка успел ей сказать, чтобы она не рвала цветы у постаментов.

– А то видишь, какой дядя на коне сидит? Он тебя заругает.

Большими, как у мамы, голубыми глазами Даша посмотрела на дедушку, то ли удивляясь, то ли обдумывая что-то. Она еще побегала и у постаментов, и по площади, а потом они с дедушкой пошли обратной дорогой через те посты, мимо которых они проходили.

У Центрального телеграфа их ждали родные люди.

2006 год

Скрипка в землянке

Дежурный по роте перед подъемом обошел все взводные землянки и передал дневальным приказ начштаба батальона не выводить личный состав из помещений на зарядку из-за сильного мороза. Этот милосердный приказ не был личной инициативой батальонного начальника штаба капитана Мешкова, перпендикулярного офицера, как его называл один из взводных командиров лейтенант Никитин. Капитан Мешков вывел бы солдат из землянок на физзарядку в нательных рубашках даже и в сорокаградусный мороз. Приказ об отмене физзарядки под открытым небом был передан накануне перед отбоем из штаба полка. В приказе говорилось, что если к подъему температура наружного воздуха останется на уровне минус двадцати градусов, то курсантский состав освобождается от физзарядки.

В землянке было тесно и почти темно. Хорошо еще, что дневальные всю ночь топили печку и было не очень холодно. Землянка была низкой, и нары в ней были устроены одноярусные. Вся площадь помещения отводилась под спальные места курсантов, за исключением узкого прохода между нарами и небольшого пространства у входа, на котором размещалась пирамида для оружия, вешалка для зимней одежды курсантов и умывальник. Здесь же стояла железная бочка из-под солянки, приспособленная под печку.

Зима в 1944-м году была холодной, и морозы держались долго. При двадцатиградусном морозе отменялась только физзарядка под открытым небом, строевые и тактические занятия не отменялись. После завтрака курсанты минометного батальона строились повзводно и с оружием и взятыми на плечи выюками с разобранными минометами направлялись на свои полигоны. Обмундирование не спасало курсантскую плоть от сильного холода.

– Вот если бы ватные штанишки, да телогреечку под бушлат, да валенки вместо этих американских ботинок, смотришь, и продержались бы мы в этом лесу до майских праздников, – балагурил курсант-ефрейтор Витя Кошман.

– Разговорчики в строю! – незамедлительно реагировал лейтенант Никитин.

На полигоне по команде взводного курсанты занимали огневую позицию, причем лейтенант Никитин подгадывал, чтобы место для этой позиции оказывалось поближе к лесу. Все так делали. Курсанты раскапывали снег до промерзлой земли, расчехляли свои 82-миллиметровые минометы и сноровисто устанавливали их в боевое положение. Командиры расчетов один за другим рапортовали о готовности минометов к бою. Это была обычная учебная тренировка, но условия, в которых проводились учения, осложнялись лютым морозом. Спасал костер. В лесу было много сушняка, деревень поблизости не было, и хворост в лесу никто не собирал. Взводный Никитин, доброй души человек, с самого начала занятий выделял по одному курсанту от отделения собирать хворост и разводить костер. Был случай, когда проверяющий от штаба полка застукал никитинский взвод греющимся у костра и, как и полагается всякому проверяющему, учинил лейтенанту разнос. Никитин спокойно и вразумительно объяснил проверяющему, что высшим командованием Красной Армии принято решение о повсеместном устройстве пунктов обогрева в зимнее время во избежание обморожений и простудных заболеваний среди военнослужащих. Принял ли к сведению проверяющий разъяснения лейтенанта Никитина, или он тоже был порядочным человеком, но о никитинском «пункте обогрева» он не доложил начальству.

Костер не только спасал от мороза не по-зимнему одетых курсантов, но еще и скрашивал долгие часы тактических занятий.

У костра не только тело, но и душа курсантская отогревалась. И несмотря на то, что добрую половину времени, отведенного для занятий, курсанты проводили у костра, учебную программу лейтенант Никитин со своим взводом обрабатывал по полной программе. Заканчи-

вая занятия, взвод быстро разбирал минометы, укладывал их составные части во выюки, гасил костер и быстро двигался в расположение части.

Во взводе был один курсант, парень из Россоши с очень веселой фамилией Вертипорох, что давало острословам повод для бесконечных шуточек и насмешек. На основе занятой фамилии курсанта придумывалась масса вариантов, один смешнее другого, вплоть до непечатных словообразований. Но изо всех возможных и невозможных буквосочетаний приклеилось и закрепилось за Вертипорохом прозвание Крутиворотник. Вертипорох ничего не имел против этого и охотно откликался как на родную, так и на придуманную фамилию. В связи с этим иногда дело доходило не только до смешного, но и до самых настоящих недоразумений.

Однажды на строевых занятиях лейтенант подал команду:

– Курсант Крутиворотник, выйти из строя!

Вертипорох сделал положенные два шага вперед, повернулся кругом и замер в ожидании дальнейших приказаний.

В строю обозначилось некоторое шевеление и раздались хихиканье.

– За невыполнение приказа в срок объявляю вам два наряда вне очереди, – объявил Никитин. – Вам ясно?

– Так точно, товарищ лейтенант!

– Становитесь в строй!

Вертипорох занял свое место в строю, а во взводе послышался уже явно выраженный смех.

– А что это вы сегодня такие веселые? Отставить смех! Построиться в колонну по четыре! – скомандовал взводный. – С места, с песней ша-гом марш!

В тот же день после отбоя в наряд на кухню чистить картошку Вертипорох не вышел. Это было сделано по предложению его земляка, тоже росошанца Витя Кошмана, назначенного старшим наряда. Остряк и умница Витя Кошман, низкорослый, на коротеньких ножках паренек был полной противоположностью своего высоченного земляка.

– Кому комвзвода вклеил сегодня наряд? – спросил Витя своего добродушного товарища.

– Как кому? Мне, – ответил Вертипорох.

– Так вот что учти, Андрюша, не тебя комвзвода послал в наряд, а какого-то Крутиворотника. У тебя же другая фамилия, или ты ее поменял?

– Ничего я не менял, и фамилия у меня какая была, такая и осталась.

– Ну вот и ложись спать. А на кухню чистить картошку пусть идет Крутиворотник, – объявил Витя, и взвод единодушно его поддержал.

После отбоя лейтенант Никитин зашел на кухню проверить, как его курсанты выполняют задание наряда. Отсутствие Вертипороха он сразу же заметил. Да и нельзя было не заметить, потому что Вертипорох был молодым человеком очень высокого роста – 188 сантиметров отмерила ему природа. Ему даже пищевого довольствия, согласно военного распорядка, была назначена двойная норма.

– А где же этот длинный, как его – все забываю – Крутиворотник? – спросил взводный.

Дальнейшее выяснение ситуации было разыграно в точном соответствии с тем, как и предполагал ушлый ефрейтор Витя Кошман.

– Вызывал я на построение в наряд Крутиворотника, но никто не откликнулся. Нет в нашем взводе курсанта с такой фамилией.

– Как это нет? – возмутился взводный. – А кого я перед строем сегодня в наряд назначил?

– Так точно! Было дело. Отдавали вы сегодня приказ курсанту идти в наряд, – согласился ефрейтор. – Но кому вы объявили наряд?

– Кому, кому? – теряя терпение, ответил Никитин, – Этому самому – как его – Крутиворотнику.

– В том-то и дело, что во взводе есть курсант по фамилии Вертипорох, а никакого Крутиворотника у нас нет. Посмотрите списочный состав взвода.

Лейтенант Никитин помолчал какое-то время, а потом хохотнул наподобие того, как это делают на сцене проштрафившиеся и разоблаченные персонажи.

– Ну, школьники, хохмачи, аферисты. А что ж вы постоянно долдоните Крутиворотник да Крутиворотник?

– Безо всякого умысла, товарищ лейтенант, – очень серьезно заявил Витя, – исключительно скуки ради.

Младший лейтенант махнул рукой и пошел на выход из кухни.

– А как же быть с Вертипорохом? – вслед ему задал вопрос Витя.

– Что делать? Ничего не делать. Раз он не Крутиворотник, то пусть отдыхает.

Тем и закончилась хохма ефрейтора Вити Кошмана. Он, вообще, был шептунной товарищ в отличие от своего флегматичного приятеля. Два следующих вечера Андрей терпеливо и добросовестно отработывал на кухне два своих внеочередных наряда.

Зима 1944-го года была не только морозной, но и снежной. Строевые занятия проводились только на полковой линейке и на плацу. На тактические занятия ходили строем только в пределах расчищенных дорожек полковой территории, а дальше шли цепочкой по протоптанной в снегу тропе. Точно также возвращались и с занятий, строились только на полковой линейке в расположении части. И вот здесь кто-нибудь в строю подавал голос:

– А ну-ка, Андрей, посмотри, что там на кухне на обед готовят?

– На первое суп-рятатуй, а на второе хрен на постном масле, – к общему веселью и удовлетворению отвечал Вертипорох.

– Прекратить разговоры в строю! – командовал Никитин. – С места, с песней шаг-гом марш!

Запевала Толя Рудный высоким голосом заводил постоянную взводную песню, которая никак не годилась для строевых смотров, но для походного строя очень подходила:

*Прощай, Маруся дорогая,
Я не забуду твои ласки...*

Песня, конечно, была идеологически не совсем выдержанной, но под нее взвод всегда четко рубил строевым шагом, и Никитин махнул рукой – пусть поют, пока замполит не запретил, лишь бы шли хорошо.

После обеда по распорядку дня курсантам полагался отдых. Молодые парни охотно забивались под одеяла, накрывались сверху бушлатами и добросовестно выполняли этот пункт дневного распорядка. После подъема была чистка оружия, затем изучение воинских уставов или политзанятия. К нарам по всей их длине были прикреплены доски наподобие скамеек, и на этих сиденьях располагались курсанты, каждый против своего спального места. Освещалась землянка двумя светильниками – обычными фитилями, заправленными в какой-нибудь сосуд с керосином. Света от фитилей было мало, а копоти много, поэтому такие светильники по всей военной России назывались копилками.

После ужина объявлялось свободное или, как его еще называли, личное время. В тесной и более, чем наполовину, темной землянке и речи не могло быть, чтобы кто-то мог в таких условиях заняться каким-то личным делом. Ни письма написать, ни почитать что-нибудь было просто невозможно. Время проходило в ожидании вечерней проверки и отбоя.

Но однажды это однообразное и тягостное времяпровождение было нарушено самым неожиданным образом. В землянку вошли несколько офицеров. Первым был комсорг батальона лейтенант Тишаков, за ним следовал комсорг полка капитан Светов в сопровождении командира взвода. С ними был никому во взводе не знакомый высокий солдат с большим сверт-

ком в руках. Комсорг полка обратился к курсантам с небольшим выступлением. Он говорил об успешных боевых операциях Красной Армии по разгрому немецко-фашистских захватчиков, о том, что фронту нужны хорошо знающие свое дело младшие командиры и поэтому курсанты должны, несмотря ни на какие трудности, успешно осваивать свою боевую специальность. Комсорг говорил хорошо, а главное кратко. В конце он сообщил:

– Мы понимаем, что вам сейчас нелегко, некоторые скучают по дому, по своим родителям. Это обычное дело. Послушайте сейчас хорошую музыку. С нами пришел музыкант из полкового оркестра. Он хороший скрипач и поиграет для вас на своем инструменте.

Музыкант развернул солдатское одеяло и раскрыл футляр со скрипкой, потом снял шинель, подпоясал ремнем гимнастерку и вынул скрипку из футляра. Высокий со светлыми волосами он привычно вскинул скрипку к подбородку и провел несколько раз смычком по струнам, подправляя настройку.

– Что вам сыграть? – обратился он к курсантам. Курсанты молчали, комсорги тоже ничего не ответили.

– Ну ладно, – улыбнулся скрипач, – тогда послушайте вот это.

И он заиграл. Сильные, невероятной красоты звуки сразу же заполнили темное пространство землянки. Курсанты минометного батальона, в основном деревенские ребята, призванные в армию из освобожденных из-под немецкой оккупации территорий, никогда в своей жизни не слышали подобной музыки. Деревенская гармошка в руках подвыпившего гармониста, развлекавшего праздничными вечерами веселящийся народ, только она и определяла возможности музыкального воспитания сельской молодежи. То же, что играл скрипач, было для них совершенно необыкновенно. Эта музыка своей изысканной выразительностью совершенно не совпадала с обстановкой, где она звучала. Но доступная для восприятия любой человеческой душой, игра скрипача сразу же покоряла и очаровывала слушателей. Курсанты никитинского взвода как будто соприкоснулись с чем-то никогда еще неизведанным ими до этой минуты. Многие из них до войны иногда по радио слушали музыкальные передачи, но возникающую в их присутствии настоящую музыку им еще не приходилось слышать. Скрипач в солдатской гимнастерке играл фрагмент из «Цыганских напевов» Сарасате. Когда он закончил играть и опустил смычок, в землянке некоторое время держалась тишина. Первым зааплодировал батальонный комсорг, а вслед за ним и все остальные. Полковой комсорг о чем-то переговорил со скрипачом и поднял руку. Землянка затихла.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.